

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Алексей Толстой

ПЕТР ПЕРВЫЙ



Школьная библиотека (Детская литература)

Алексей Толстой
Петр Первый. Том 2

Издательство «Детская литература»

1929-1944

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Толстой А. Н.

Петр Первый. Том 2 / А. Н. Толстой — Издательство «Детская литература», 1929-1944 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-006602-3

В данный том вошли вторая и третья книги романа Алексея Толстого «Петр Первый». Вторая книга романа показывает первые шаги преобразовательской деятельности Петра, поражение русской армии под Нарвой и ее первые победы над шведами и заканчивается основанием Петербурга в 1703 году. В третьей книге перед читателем вновь разворачиваются события Северной войны вплоть до взятия Нарвы русскими. Комментированное издание. Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-08-006602-3

© Толстой А. Н., 1929-1944
© Издательство «Детская литература», 1929-1944

Содержание

Петр Первый	6
Глава первая	7
Глава вторая	48
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Алексей Толстой

Петр Первый. В 2 томах. Том 2

Текст печатается по изданию:
Толстой А. Н. Собр. соч.: В 10 т.
М.: Худож. лит., 1982–1986. Т. 7.

Комментарии
С. И. Кормилова

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



© Кормилов С. И., комментарии, 2003
© Иванов Ю. В., наследники, иллюстрации, 2003
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2003

Петр Первый Книга вторая



Глава первая

1

Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивала у сторожей – не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою, – отвечали сторожа, – кругом шалят...»

Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, зябко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, – открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, – садиться на паперти. Ругались вполголоса натошак. Крестьясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки.

Босой, вприскок, бежал юродивый, – вонючий, спина голая, в голове еще с лета – репы. На паперти так и ахнули: в руке у Божьего человека – кусище сырого мяса... Опять, значит, такое скажет, – по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, – ждет, когда народу соберется больше.

Стало видно на улице. Хлопали калитки. Шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками. Без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветреными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом, – видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья, обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. Три с половиной года, – сказано, – будет мнимое царство длиться...»

В прежние года в этот час в Китай-городе – шум и крик – тесно. Из Замоскворечья идут, бывало, обозы с хлебом, по Ярославской дороге везут живность, дрова, по Можайской дороге – купцы на тройках. Гляди сейчас, – возишка два расшпилили, торгуют тухлятиной. Лавки – половина заколочены. А в слободах и за Москвой-рекой – пустыня. На стрелецких дворах – и крыши сорваны.

Начинают пустеть и храмы. Много народа стало отвращаться: православные-де попы на пироги прельстились, – заодно с теми, кто этой зимой на Москве казнил и вешал. На ином церковном дворе поп не начинает обедни, задрав бороду, кричит звонарю: «Вдарь в большой, дура-голова, вдарь громче...» Звони не звони, народ идет мимо, не хочет креститься шепотью. Раскольники учат: «Щепоть есть кукиш, раздвинь пальцы, большой сунь меж ними. Известно, кто учит кукишем смахиваться».

Народу все-таки подвалило на улицах: боярская челядь, дармоеды, ночные разные шалуны, людишки, бродящие меж двор. Многие толпились у кабака, ожидая, когда отопрут, – нюхали: тянуло чесночком, постными пирогами. Из-за Неглинной шли обозы с порохом, чугунными ядрами, пенькой, железом. Раскатываясь на ухабах, спускались через Москву-реку на Воронежскую дорогу. Конные драгуны, в новых нагольных полушубках, в иноземных шляпах, – усатые, будто не русские, – надрывались матерной руганью, замахивались плетями на возчиков. В народе говорили: «Немцы опять нашего-то на войну подбивают. Наш-то в Воронеже с немками, с немцами вконец оскоромился!»

Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабатчик-целовальник. Обмерли, – никто не засмеялся, понимали, что – горе: у целовальника лицо – голое, – вчера в земской избе обрили по указу. Поджал губы, будто плача, перекрестился на пять низеньких глав, хмуро сказал: «Заходите...»

Наискосок, на паперти, юродивый запрыгал по-собачьему, тряс зубами мясо. Бежали бабы, мужики, – дивиться... Счастье храму, где прибил юродивый. Но и опасно по нынеш-

нему времени. У Старого Пимена прикармливали так-то юрода, он раз вошел в храм на амвон*¹, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Поклоняйтесь, али *меня* не узнали?..» Юродивого с попом и дьяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю-кесарю, Федору Юрьевичу Ромодановскому.

Вдруг закричали: «Пади, пади!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, – ездые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка, – на взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты...

А законную царицу, Евдокию Федоровну, этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь, навечно – слезы лить...

2

- Братцы, люди хорошие, поднесите... Ей-ей, томно... Крест вчера пропил...
- Ты кто ж такой?..
- Иконописец, из Палехи, мы – с древности... Такие теперь дела, – разоренье...
- Зовут как?
- Ондрюшка...

На человеке – ни шапки, ни рубахи – дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но – вежливый – человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно...

- Садись, чего уж...

Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик, с тонкой шеей, рассказывал:

- Казнили стрельцов. Ладно. Это – дело царское. (Поднял перед собой кривоватый палец.) Нас не касается... Но...

Мягкий посадский в стрелецком кафтане (многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки, – стрельчихи с воем, чуть не даром, отдавали рухлядь), посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику:

- То-то, что – но... Вот – то-та!..

Хитрый мужик, помахивая на него пальцем:

- Мы сидим смирно... Это у вас, в Москве, чуть что – набат... Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать... Не о том речь, посадский... Вы, дорогие, удивляетесь, почему в Москве подвозу нет? И не ждите... Хуже будет... Сегодня – и смех и грех... Привез я соленой рыбки, бочку... Для себя солил, но провоняла. Стал на базар, – еще, думаю, побьют за эту вонищу, – в час, в два все расхватали... Нет, Москва сейчас – место погиблое...

- Ох, верно! – Иконописец всхлипнул.

Мужик поглядел на него и – деловито:

- Указ: к Масленой стрельцов со стен поснимать, вывезти за город. А их тысяч восемь. Хорошо. А где подводы? Значит, опять мужик отдувайся? А посадки на что? Обяжи конной повинностью посадки.

Мягкие щеки посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику:

- Эх ты, пахарь... Ты бы походил зиму-то мимо стен... Метелью подхватит, начнут качаться... Довольно с нас и этого страха...

¹ Слова и выражения, отмеченные в тексте знаком *, объясняются в Комментариях на с. 461–477.

– Конечно, их легче бы сразу похоронить, – сказал мужик. – В прощенное воскресенье привезли мы восемнадцать возов, не успели расшпилить – налетают солдаты: «Опоражнивай воза!» – «Как? Зачем?» – «Не разговаривай». Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку, – опрокинули, дьяволы. «Ступай, кричат, к Варварским воротам...» А у Варварских ворот навалено стрельцов сотни три... «Грузи, такой-сякой...» Не евши, не пивши, лошадей не кормили, повозили этих мертвецов до ночи... Вернулись на деревню, – в глаза своим смотреть стыдно.

К столу подошел незнакомый человек. Стукнув доньшком, поставил штоф.

– На дураках воду возят, – сказал. Смело сел. Из штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом: – Бывайте здоровеньки. – Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках.

Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик:

– Мужик – дурак, дурак, знаешь, – мужик понимает... (Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крикнул.) Нет, дорогие мои... (Потянулся за чесночной головкой.) Утрасть – видели – обоз пошел в Воронеж? Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные – плати, по кабальным – плати, кормовые боярину – дай, повытошные в казну – плати, мостовые – плати, на базар выехал – плати...

Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик пресекся, – шмыгнул:

– Ладно... Теперь – лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут... Нет, дорогие мои... В деревнях посчитайте, – сколько жилых-то дворов осталось? Остальные где? Ищите... Ныне наготове бежать мало не все. Мужик – дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть... (взялся за бородку, поклонился) мужик лапти переобул и па-ашел, куда ему надо.

– На север. На озера... В пустыни!... – Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами.

Мужик отстранил: «Помолчи!...» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол:

– Ребята, – зашептал, – действительно, многие пугаются, уходят за Бело-озеро, на Вол-озеро, на Матка-озеро, Выг-озеро... Там тихо... (Дрогнув вспухшими щеками.) Только те, кто уйдет, – те и живы будут...

У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз, – стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому...

– Он верно говорит... Мы в Палехе к Великому посту шестьсот икон написали. По прежним годам это – мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палехе-та. Отчего? Письмо наше светлое, титул Иисуса с двомя «иже». Рука благословляющая со шепотью. И крест пишем – крыж – четырехконечный. Все по православному чину. Понятно? Те, кто у нас иконы берут, – гостинодворцы Корзинкин, Дьячков, Викулин, – говорят нам: «Так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные: на них, говорят, лапа...» – «Как лапа?» (Иконописец всхлипнул коротко. Посадский, низко склонясь над столом, застучал зубами.) – «А так, говорят, след *его* лапы... Птичий след на земле видели, – четыре черты?.. И у вас на иконах тот же...» – «Где?» – «А – крыж... Понятно? Вы, говорят, этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет...»

Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли... Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, поддакивал... и вдруг, оглянувшись, вытянул губы, зашептал:

– А табак? В каких книгах читано – человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чаво? За сорок за восемь тысяч рублей все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову – продавать табак. И указ, чтобы эту адскую траву никоциану курили... Чьих рук это дело? А чай, а кофей? А картовь, – тьфу, будь она проклята! Похоть антихристовая, – картовь! Все это зелье – из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики... Чай кто пьет

– отчаётся... Кто кофей пьет – у того на душе ков...^{*} Да – тьфу! – сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое...

– Торгуешь-то чем? – спросил пегобородый.

– Да какая теперь торговля... Немцы торгуют, а мы воем. Овсея Ржова, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка... Вот моя лавка, вот их торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали... Говорил Овсей не раз: «Терпим за то, что тогда, в восемьдесят втором году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы, стрельцам, тогда за старую веру стать дружно... Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен... А теперь не знаем, как и душу спасти...» Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались... Нет стрельцов, – бери нас голыми руками... Всем морду обреют, всех заставят пить кофей, увидите...

– Вот хлеб съедим, к весне все разбредемся, – сказал мужик твердо.

– Братцы! – Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко. – Братцы, на севере – прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие...

В кабаке становилось все шумнее и жарче, бухала обитая рогожей дверь. Спорили пьяные, у стойки качался один, голый по пояс, без креста, молил – в долг чарочку... Одного выволокли за волосы в сени и там, надрывающе вскрикивая, били, – должно быть, за дело...

У стола остановился согнутый едва не пополам нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал:

– Откуда залетел, сокол?

– Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал...

– Онвад с унод?² – вполголоса быстро спросил согнутый.

– Ступай, – мы здесь явно...

Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бороденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский, – испугавшись:

– Это кто ж такой?

– Путник на сиротской дороге, – строго сказал пегобородый.

– По-каковски с тобой говорил-то?

– По-птичи.

– А ведь он тебя будто признал, парень...

– А ты поменьше спрашивай, умнее будешь... (Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки.) Слухай теперь... Мы – с Дону, по торговому делу.

Посадский живо придвинулся, заморгал:

– Чего покупаешь?

– Огневое зелье, – нужно бочек десять. Свинцу пудов полсотни. Сукна доброго на жупаны. Железо подковное, гвозди. Деньги есть.

– Сукна доброго, железа достать можно... Свинец и порох – тяжело: мимо казны нигде не взять.

– То-то, что постараться – мимо казны.

– Есть у меня один подьячий. Нужны подарки.

– Само собой...

Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку, сказал, что постарается – сейчас приведет подьячего. Убежал. Мужикуну хотелось вмешаться в торговое дело. Наморща лоб, покашлял:

² Тарабарский язык, употреблявшийся владимирскими офенями, раскольниками, иногда и разбойниками. Слова говорились наыворот. (Примеч. А. Н. Толстого.)

– Шерсть поярковая, кожи не надо тебе, милосердие? Ну, – скажите, пятьдесят пудов свинца... Воевать, казаки, что ли, собираетесь?

– Перепелов бить...

Пегобородый отвернулся. К нему опять подходил согнутый человек на клюках. Держа шапку с милостыней, сел рядом и – не глядя:

– Здравствуй, Иван...

– Здравствуй, Овдоким, – так же, не глядя, ответил пегобородый.

– Давно не видались, атаман...

– Побираешься?

– От немощи... Летать погулял в лесу легонько, – не те года... Надоело, – помирять надоть...

– Обожди немного...

– А что, – разве хорошее слышно?

Иван, усмехаясь, глядел сквозь чад на пьяных людишек. Глаза охолодели. Тихо – углом рта:

– Дон поднимаем.

Овдоким уткнулся в шапку, перебирал полушки.

– Не знаю, – проговорил, – слышать – донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают...

– Пришлих много, гулять. Они начнут, казаки подсобят... А не подсобят, – все равно – либо в Турцию уходить, либо под Москву в холопы навечно... Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришлих велит выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют... Конец тихому Дону...

– Для такого дела нужен большой человек, – сказал Овдоким, – не вышло бы, как тогда, при Степане...³

– Человек у нас есть, не как Степан, – без ума голову свою потерял, – прямой будет вож... Весь раскол за ним встанет...*

– Смутил меня, Иван, прельстил, Иван, – а уж я собрался на покой...

– Весной приходи. Нам старые атаманы нужны. Погуляем веселей, чем при Степане...

– Едва ли, едва ли... Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй...

Запыхавшись, вернулся посадский, подмигивал щекой. За ним шел важно лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами, в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Не здороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо – жаждущее, глаза – мутные, антихристовы, в ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь, из-за спины, – ему на ухо:

– Кузьма Егорыч, вот человек, который...

– Блинов, – мятым голосом проговорил подьячий, не обращая внимания, – блинов с тешкой...

3

Князь Роман, князь Борисов, сын Буйносов*, а по-домашнему – Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался – и грудь и под мышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно... Ух-ха-ха-ха-а... – позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало, – мутно и скучно.

В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдвигал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, – шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтора, кто у возка – держат коней, кто бежит к воротам.

³ То есть при Степане Разине. (Примеч. А. Н. Толстого.)

Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину... Под ручки, под бочки подсаживали в возок... Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец – ждать, когда государевы светлые очи (а после – царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался...

Все минуло! Проснешься – батюшки! Неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь... Вон, висит на тесовой стене – где бы ничему не висеть – голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранном подолом. Царь велел в опочивальне повесить, не то на смех, не то в наказание. Терпи...

Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабы, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде – вороной парик, из него палками пыль-то не выколо-тишь. Зачем все это?

– Мишка! – сердито закричал боярин. (В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.) – Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та... Лей на руки...

Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся, – противно такое бритое, колючее мыть... Ворча, сел на постель, чтобы надеть портки. Мишка подал блюдо с мелом и чистую тряпочку.

– Это еще что? – крикнул Роман Борисович.

– Зубы чистить.

– Не буду!

– Воля ваша... Как царь-государь говорил, надысь зубы чистить, – боярыня велела каждое утро подавать...

– Кину в морду блюдцем... Разговорчив стал...

– Воля ваша...

Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, – жмет, тесно, жестко... Зачем? Но велено строго, – дворянам всем быть на службе в немецком платье, при алонжевом парике... Терпи!.. Снял с гвоздя парик (неизвестно – какой бабы волосы), с отвращением наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым.

– Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?

– Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим...

– Знаю... Не скаль зубы...

– Воля ваша...

Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском Часослов. Снял нагар со свечечки. Вздвинул круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем...

Было отчего задуматься... Ведь так если дальше пойдет, – всем великим родам, княжеским и дворянским, разорение, а про бесчестье и ругательство говорить не приходится. «Ишь ты, – взялись дворянство искоренять! Искорени... При Иване Грозном пробовали так-то – разорять княжеские фамилии... Получилась гиль, смута... И ныне будет гиль... Становой хребет государству – мы... Разори нас, – и государства нет, жить незачем... Холопами, что ли, царь, будешь управлять?.. Чепуха!.. Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на Кукуе пропил...»

Роман Борисович поправил очки, начал читать – гнусливо, по чину. Но мысли гуляли мимо строчек...

«Дворни пятьдесят душ взяли в солдаты... Пятьсот Рублев взяли на воронежский флот... В воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну, – все амбары вычистили. Пшеницы было за три года урожая, – ждал, когда цену дадут... (От резкой досады горько стало во рту.) Теперь слышно – у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну... Солонины велено заготовить десять бочек... Ах, Боже мой, солонина-то им зачем?..»

Читал. За слюдяным, в свинцовой раме, окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны...

«На Масленой бесчестили великие фамилии!.. По триста человек ряженных налетало, – в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны. Пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют, дворовым девкам подолы обдерут... Кричат козлами, петухами, птицами...»

Роман Борисович переступил с ноги на ногу, – вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами... И не смешно вовсе... Жена видела, Мишка видел... «Ох, Господи! Зачем? К чему это?»

Роман Борисович с натугой размышлял: в чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут, – в мир-де пришел лстец. Католики и лютеране – его слуги, иноземные товары – все с печатью антихристовою. Настал-де конец света.

Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался: «Невероятно... Господь не допустит пропасть русскому дворянству. Обождать да потерпеть. Э-хе-хе...»

Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик, покрытый ковром. Разогнув не малой толщины тетрадь, где было записано все касательно – кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами, или хлебом, или запасами. Медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами.

В палату вошел старший приказчик Сенька, взысканный из кабальных холопов за пронырливый ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель: до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал, конечно, хотя – в меру, по совести, и – хоть режь его – никогда в воровстве не сознавался. Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду на толстых жабрах, возил и бил затылком о стену: «Украл, ведь украл, сознавайся!..» Сенька, не моргая, рыжими глазами глядел на боярина, как на Бога. Только, когда оставят его бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет:

– Напрасно, Роман Борисович, слуг бьешь так-то. Бог тебя простит, я перед тобой ни в чем не виноват...

Сенька влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая-чудотворца, поклонился боярину и стал на колени.

– Ну, Сенька, что скажешь хорошего?

– Все слава Богу, Роман Борисович.

Сенька, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть – с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из сельца Иванькова и со вчерашнего вечера поставил на дворе на правёж...⁴

Роман Борисович удивился, приоткрыл рот, – неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь: Федька в прошлом году взял шестьдесят рублей, – избу-де новую справить, да сбрую, да лемех новый, да на семена... Коська взял тридцать семь рублей с полтиной, тоже, видно, врал, что на хозяйство...

– Ах сволочи, ах мошенники! Ты бить-то их велел батогами?

⁴ Пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят. (Примеч. А.Н. Толстого.)

– С вечера бьют, – сказал Сенька, – двое приставлены к каждому – бить без пощады... Что ж, Роман Борисович, батюшка, вам горевать: Федька с Коськой не заплатят, – против их долга у нас кабальные расписки, – возьмем обоих в кабалу лет на десять. Нам рабы нужны...

– Деньги мне нужны, не рабы! – Роман Борисович бросил на стол гусиное перо. – Рабов поикорми – царь опять в солдаты возьмет...

– Деньги нужны – сделайте, как у Ивана Артемьича, у Бровкина: поставил у себя полотняный завод в Замоскворечье, сдает в казну парусное полотно. От денег мошна лопается...

– Да, слышал... Врешь ты, чай, все.

Бровкинский полотняный завод давно не давал покою Роману Борисовичу, Сенька чуть не каждый день поминал про него: явно хотел на этом деле уворовать немало. А вот Нарышкин, Лев Кириллович (дядя государев), тот поступает вернее: деньги дает в Немецкой слободе одному голландцу, Ван-дер-Фику, и тот посылает их в Амстердам на биржу в рост, и Нарышкину с тех денег на каждый год идет с десяти тысяч шестьсот рублей одного росту. «Шестьсот рублей – не пито, не едено!..»

– Жили деда, забот не ведали, – проговорил Роман Борисович. – А государство крепче стояло. (Надел в рукава поданную Сенькой шубу на бараньем меху.) С государем сидели, думу думали, – вот какие были наши заботы... А тут не рад и проснуться...

Роман Борисович пошел по лестницам, – вниз и вверх, – по холодным переходам. По пути отворил забухшую дверь, откуда пахнуло кислым, горячим паром, в глубине едва были видны при горевшей лучине четыре мужика, – босые, в одних рубахах, – валявшие баранью шерсть. «Ну, ну, работайте, работайте, Бога не забывайте!» – сказал Роман Борисович. Мужики ничего не ответили. Идя далее, открыл дверь в рукодельную светлицу. Девки и девчонки, душ двадцать, встав от столов и пялец, поклонились в пояс. Боярин закрутил носом: «Ну, тут у вас и дух, девки... Работайте, работайте, Бога не забывайте...»

Заглянул Роман Борисович и в швальню и в кожевню, где в чанах кисли и дубились кожи. Угрюмые мужики-кожемяки мяти кожи руками... Сенька, вздув сальную свечу в круглом фонаре с дырочками, снимал тяжелые замки на чуланах и клетях, где хранились запасы. Все было в порядке. Роман Борисович спустился на широкий двор. Было уже светло, облачно. У колодца поили овец. От ворот до сеновала стояли возы с сеном. Мужики сняли шапки. «Мужички, маловаты воза-то!» – крикнул Роман Борисович...

Повсюду из ветхих изб и клетей, топившихся по-черному, шли дымки, сбиваясь ветром, – застилали двор. Повсюду – кучи золы и навоза. Морозное тряпье хлопало по веревкам. Около конюшни, лицом к стене, понуро переминались два мужика без шапок. Из конюшни, завидев на крыльце боярина, торопливо выбежали рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить мужиков по заду и ляжкам... «Ой, ой, Господи, за что?..» – стонали Федька и Коська...

– Так, так, за дело, всыпь еще, – поддакивал с крыльца Роман Борисович.

Федька, длинный, рябой, красный мужик, – обернувшись:

– Милостивец, Роман Борисович, да нет у нас... Ей-богу, хлеб до Рождества съели...

Скотину, что ли, возьми, – разве можно эдакую муку терпеть...

Сенька сказал Роману Борисовичу:

– Скотина у него мелкая, худая, он врет... А можно взять у него девку, – в пол его долга. А остальное доработает.

Роман Борисович сморщился, отвернулся:

– Подумаю. Вечор потолкуем.

За дымами, за голыми деревьями постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. «Ох, грехи тяжкие», – пробормотал Роман Борисович, оглянул еще раз хозяйство и пошел в столовую палату – пить кофей.

Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчовая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня – в русском, темного бархата, просторном летнике, на голове – иноземный чепец. Княжны – в немецких робах со шлёпами⁵: Наталья – в персиковом, Ольга – в зеленом, полосатом, старшая – Антонида – в робе цвета «незабвенный закат». У всех волосы взбиты, посыпаны мукой. Щеки кругло нарумянены, брови подведены, ладони – красные.

Прежде, конечно, и Авдотье и девкам в столовую палату и ходу не было: сидели по светлицам у окошечек за рукодельем, в летнее время – в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату: «Где дочери? Посадить за стол...» (Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур – без памяти.) Царь помял каждую – за подбородок: «Танцевать умеешь?.. (Какое там, – у девок от стыда слезы из глаз прыщут.) Научить... К Масленой плясали б минует, польский и контерданс...» Взял князя Романа за кафтан, не шутя тряхнул: «Сделать в доме политес изрядный, – запомни!...» Девчонок посадили за стол, заставили пить вино... И дивно – пьют, бесстыжие... Недолго погода смеяться начали, будто им и не в диковину...

Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзки, придирчивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят. Сидят с утра, разодевшись, делают плезир, – пьют чай и кофей.

Роман Борисович вошел в палату. Покосился на дочерей. Те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась:

– Здравствуй, батюшка...

Антонида зашипела на мать:

– Сядьте, мутер...

Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку калганной, закусить чесночком... Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут...

– Чего-то кофей не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли... Мать, поднеси крепкого.

– У вас, фатер, один разговор каждое утро – водки, – сказала Антонида, – когда вы только приучитесь...

– Молчи, кобылица, – закричал Роман Борисович, – ай, плетку возьму...

Княжны отвернули носы. Авдотья по-старинному, с поклоном, поднесла чарочку, шепнула:

– Да поешь ты, батюшка, вволю...

Выпил, отдулся. Грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжиков соленых рубленых, с лучком. Жуя пирожок маленький, – черт-те с чем, – спросил про сына:

– Мишка где?

– Арифметику, батюшка, заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет...

Рябоватая Ольга, самая дотошная до политеса, проговорила, морща губы:

– Мишка все с мужиками да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал* и в карты по носам бился...

– Дитя оно малое еще, – простонала Авдотья.

Молчали некоторое время. Наталья, младшая, – смешливая, вертлявая, – нагнулась к окошечку (в оконницы недавно вставили стекла вместо слюды).

– Ах, ах, девы! Гости приехали...

Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки – убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. Мажордом (по-прежнему –

⁵ Шлейф. (Примеч. А. Н. Толстого.)

дворецкий), старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на Святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола – делать талант гостье: трясти перед собой шляпу, лягать ногами... А перед кем ломаться-то князю Буйносову! Эту боярыню Волкову семь лет назад Санькой звали, сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец, Ивашко Бровкин, был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться. Видишь ты, – мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала! Муж у царя в милости... (Муж ее приходился князю Роману двоюродным племянником.) Отцу дьявол помог: вылез в купчины, теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.

Мажордом раскрыл дверь (по-старинному – низенькую и узкую), зашуршало розово-желтое платье. Нырять голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки, с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку, – атласный башмачок с каблуком вершка в два, – присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой, страусовыми перьями. Окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы:

– Бонжур, прынцес!

Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостью глазами. Роман Борисович взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу – откусать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.

– Ах, ах, куафа* на китовом усе, конечно.

– А нам-то прутья да тряпки подкладывают.

Санька им отвечала:

– С куафер чистое наказание: на всю Москву один. На Масленой дамы по неделе дожидались, а которые загодя-то причесанные – так и спали на стуле... Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.

– Почтенному Ивану Артемьичу поклон передайте, – сказал князь. – Как завод его полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное...

– Тятенька в Воронеже. И Вася сейчас в Воронеже, при государе.

– Наслышаны, наслышаны, Александра Ивановна.

– Вася вчера письмо прислал. – Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж (Роман Борисович заморгал: вот-вот сейчас женщина заголится), вытащила голубенькое письмецо. – Как бы Васю мово не послали в Париж...

– Что пишет? – кашлянув, спросил князь. – Про государя что отписывает?..

Санька долго разворачивала письмецо, – лоб наморщился. Щеки, шея залились краской. Шепотом:

– Читать не так давно научилась. Виновата...

Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам с титлами и росчерками* стала читать, выговаривая медленно каждое слово:

– «Сашенька, здравствуй, свет мой, на множество лет... У нас в Воронеже вот какие дела. Скоро флот будем спускать в Дон, и с тем наше житье здесь окончится... Пугать не стану, а стороной слышал, государь-де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее – в Париж. Не знаю как и думать о сем: далеко, да и страшновато... Мы все, слава Богу, здоровы. Герр Питер тебе кланяется, – поминали недавно за ужином. Он по вся дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди и скобы кует, сам и конопатит. И бороду брить недосуг: зело всех торопит, людей загонял. Но флот построили...»

Роман Борисович стучал по столу ногтями:

– Да... Конечно, флот, да... Сам кует, сам конопатит... Сил, значит, девать некуда...

Санька кончила чтение. Тихонько вытерла губы. Сложила письмецо и – за корсаж:
– На Святой государь вернется – в ноги ему брошусь... Хочу в Париж...

Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками: «Ах и – ах, и – ах!» Княгиня Авдотья перекрестилась:

– Напугала, матушка, страсть какая, – в Париж... Чай, там погано!

У Саньки потемнели синие глаза, прижала перстни к груди:

– Так я скучаю в Москве!.. Так бы и полетела за границу... У царицы Прасковьи Федоровны* живет француз – учит политесу, он и меня учит. Он рассказывает! (Коротко передохнула.) Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минувет*, танцую лучше всех, голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу... Так стало скушно в Москве. Слава Богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти...

...Боярыня Волкова уехала. Роман Борисович, посидев за столом, велел заложить возок – ехать на службу, в приказ Большого дворца. Ныне всем сказано служить. Будто мало на Москве приказного люда. Дворян посадили скрипеть перьями. А сам весь в дегтю, в табачище, топором тюкает, с мужиками сивуху пьет...

– Ох, нехорошо, ох, скушно, – кряхтел князь Роман Борисович, влезая в возок...

4

У Спасских ворот, в глубоком рву, где надо льдом торчали кое-где сгнившие сваи, Роман Борисович увидел десятка два саней, покрытых рогожами. Понуро стояли худые лошаденки. Мужик на откосе лениво выкалывал пешней примерзший труп стрельца.* День был серый. Снег – серый. По Красной площади, по навозным ухабам, брели сермяжные люди, повесив головы. Часы на башне заскрипели, захрипели (а, бывало, били звонко). Скучно стало Роману Борисовичу.

Возок проехал по ветхому мосту в Спасские ворота. В Кремле, как на базаре, люди ходят в шапках. У изгрызанной лошадей коновязи стоят простые сани... Стеснилось сердце у Романа Борисовича. Опустело место сие, пресветлых очей нет, что вон в том окошечке царском теплились, как лампы во славу Третьего Рима. Скучно!

Роман Борисович остановился у приказного крыльца. Никого не было, чтобы вынуть князя из возка. Вылез сам. Пошел, отдуваясь, по наружной крытой лестнице. Ступеньки захожены снегом, наплевано. Сверху, едва не толкнув князя, сбежали какие-то человечки в нагольных полушубках. Задний – пегобородый – нагло царапнул гуляющим глазом... Роман Борисович, остановись на пол-лестнице, негодуя стукнул тростью.

– Шапку! Шапку ломать надо!

Но крикнул на ветер. Такие-то порядки завелись в Кремле.

В приказе, в низких палатах, – угар от печей, вонь, неметенные полы. За длинными столами, локоть к локтю, писцы царапают перьями. Разогнув спину, один скребет нечесаную башку, другой скребет под мышками. За малыми столами – премудрые крючки-подьячие, – от каждого за версту тянет постным пирогом, – листают тетради, ползают пальцами по челобитным. В грязные окошечки – мутный свет. По повыту, мимо столов, похаживает дьяк-повытчик* в очках на рябом носу.

Роман Борисович важно шел по палатам, из повыта в повыт. Дела в приказе Большого дворца было много, и дела путанные: ведали царскую казну, кладовые, золотую и серебряную посуду, собирали таможенные и казацкие деньги и стрелецкую подать, ямские деньги и оброк с дворцовых сел и городов. Разбирались в этом только приказный дьяк да старые повытчики. Ново-назначенные бояре сиживали целый день в небольшой, жарко натопленной палате, страдали в тесном немецком платье, глядели сквозь мутные окошечки на опустевший царский дво-

рец, где, бывало, на постельном крыльце, на боярской площадке, хаживали они в собольих шубах, помахивали шелковыми платочками, судили-рядили о высоких делах.

Много страшных дел прошумело на этой площади. Вон с того ветхого, ныне заколоченного крыльца, по преданию, ушел с опричниками из Кремля в Александровскую слободу царь Иван Грозный, чтобы ярость и лютость обратить на великие боярские роды. Рубил головы, на сковородах жег и на колья сажал. Отбирал вотчины. Но Бог не попустил вконец боярского разорения. Поднялись великие роды.

Вон из того деревянного терема с медными петухами на луковичной крыше выкинулся проклятый Гришка Отрепьев – другой разоритель преславного боярства русского. Пустыня осталась от московской земли, пожарища, кости человечьи на дорогах, но Бог не попустил, – поднялись великие роды.

Ныне опять налезла гроза – по грехам нашим... «Э-хе-хе», – скучливо кряхтели бояре в жаркой палате у окошечек. Видно, не мытьем хотят взять – катаньем... Бороды всем обрили, служить всем велели, сынов расписали по полкам, по чужим землям... «Э-хе-хе, не попустит Бог и на этот раз...»

Войдя в палату, Роман Борисович увидел, что опять сегодня поднесли чего-то сверху. Старый князь Мартын Лыков тряс бабьими щеками. Думный дворянин Иван Ендогуров и стольник Лаврентий Свиньин, запинаясь, читали грамоту. Поднимая головы, только и могли молвить, что: «Ах, ах!»

– Князь Роман, сядь послушай, – едва не плача, сказал князь Мартын. – Что же будет-та? Теперь каждый и облат и обесчестит... Одна была управа и ту отнимают.

Ендогуров и Свиньин сызнова начали читать по складам царский указ. В нем говорилось, что ему, царю и великому князю и пр., и пр., много докучают князья и бояре, и думные, и московские дворяне челобитными о бесчестье. Такого-то дня подана ему, царю и пр., челобитная от князя Мартына, княж Григорьева, сына Лыкова, в том, что его на постельном крыльце лаяли и бесчестили, и лаял-де и бесчестил его Преображенского полку поручик Олешка Бровкин... Проходя по крыльцу, кричал ему, князю Мартыну: «Что-де смотришь на меня *зверообразно*, я-де тебе ныне не холоп, ты прежде был князь, а ныне ты – *небылица*...»

– Мальчишка он, мужицкий сын, страдник, – князь Мартын тряс щеками, – тогда-то сгоряча я запаматовал, он хуже мне кричал...

– А что же он тебе тогда кричал, князь Мартын? – спросил Роман Борисович.

– Ну, чего, чего... Кричал, многие слышали: «Мартынушка-мартышка, плешивый...»

– Ай, ай, ай, обидно, – завертел головой Роман Борисович. – А что, – не сын ли это Ивана Артемьича, Олешка?

– А черт его знает, – чей он сын...

– «Царь и великий князь и пр., – читали далее Ендогуров и Свиньин, – чтобы ему не докучали в такое трудное для государства время, за доuku и себе в досаду повелел на челобитчике, князе Мартыне, выправить десять рублей и те деньги раздать нищим и ныне челобитные о бесчестье воспретить...»

Окончив чтение, покрутили носами. Князь Мартын опять всполохнулся:

– Небылица! Потрогай меня, – какая же я небылица? Род наш – от князя Лычко! В тринадцатом веке вышел из Угорской земли Лычко-князь с тремя тысячами копейщиков. И от Лычки – Лыковы пошли и князья Брюхатые, и Таратухины, и Супоневы, и от младшего сына – Буйносовы...

– Врешь! Истинную несешь небылицу, князь Мартын! – Роман Борисович всем телом повернулся на лавке, навесив брови, засверкал взором (эх, не босые бы щеки, кривоватый голый рот, – совсем бы страшен был князь Роман)... – Буйносовы от века сидели выше Лыковых. Мы род свой от стольных черниговских князей считаем поименно. А вы, Лыковы, при

Иване Грозном сами в родословец себя вписали... Черт его, князя Лычко, видел, как он вышел из Угорской земли...

У князя Мартына глаза стали вращаться, запрыгали мешки под глазами, задрожало, будто плачем, лицо с большой верхней губой:

– Буйносовы! Не в Тушине ли, в лагере, тушинский вор вам вотчины-то жаловал?

Оба князя поднялись с лавки, стали оглядывать друг друга с ног до головы. И быть бы лаю и шуму великому – не вступись Ендогуров и Свинын. Усовестили, успокоили. Вытирая платками лбы и шеи, князья сели по разным лавкам.

Скуки ради думный дворянин Ендогуров рассказывал, о чем болтают бояре в государственной Думе, – руками разводят, бедные: царь со своими советчиками в Воронеже одно только и знает, – денег да денег. Подобрал советчиков, – наши да иноземные купцы, да людишки без роду-племени, да плотники, кузнецы, матросы, выюноши такие – только что им ноздри не вырваны палачом. Царь их воровские советы слушает. В Воронеже и есть истинная Дума государева. Жалобы со всех городов от посадских и торговых людей так туда и сыплются: нашли своего владыку... И с этим сбродом хотят одолеть турецкого султана. В Москву писал один человек из посольства Прокопия Возницына, из Карловиц: турки-де над воронежским флотом смеются, дальше донского устья он не уйдет, весь сядет на мелях.

– Господи, да сидеть нам смирно, зачем нам турков дражнить, – сказал смирный Лаврентий Свинын. (Троих сыновей его взяли в полки, четвертого – в матросы. Старик скучал.)

– Это – как смирно? – проговорил Роман Борисович, грозно раскрыв на него глаза. – Не должен бы ты, Лаврентий, по худости, наперед других вступать в разговор, – первое... (Ударил себя по ляжке.) Как, перед турками, перед татарами – смирно? А для чего мы князя Василия Голицына два раза в Крым посылали?

Князь Мартын, – глядя на печь:

– Не у всех вотчины за Воронежем да за Рязанью.

Роман Борисович дернул на него ноздрей, но пренебрег:

– В Амстердаме за польскую пшеницу по гульдену за пуд дают. А во Франции – и того дороже. В Польше паны золотом завалились. Поговори с Иваном с Артемьичем Бровкиным, он расскажет, где денежки-то лежат... А я по винокурням прошлогодний хлеб Христа ради продал по три копейки с деньгой за пудик... Ведь досадно, мне – рядом: вот – Ворона-река, вот – Дон, и – морем пшеничка моя пошла... Великое дело: сподобил бы нас Бог одолеть султана... А ты – смирно!.. Нам бы городишко один в море, Керчь, что ли, бы... И опять: мы, как Третий Рим, – должны мы порадеть о Гробе Господнем? Али мы совсем уже совесть потеряли?

– Султана не одолеем, нет. Зря задираемся, – облегченно сказал князь Мартын. – А что хлеба у нас досыта – и слава тебе, Господи. С голода не помрем. Только не гнаться дочерям шлёпы навешивать да талант заводить дома...

Помолчав, глядя мимо раздвинутых колен на сучок в полу, Роман Борисович спросил:

– Хорошо. Кто же это шлёпы на дочерей навешивает?

– Конечно, таких дураков, которые еще в Немецкой слободе кофей покупают по два и по три четвертака за фунт, таких никакой мужик не прокормит. – Князь Мартын, косясь на печь, трепетал дряблым подбородком, явно опять нарывался на лай...

Дверь сильно толкнули. В духоту с мороза вскочил круглолицый, с приподнятым носом, румяный офицер, в растрепанном парике и надвинутой на уши небольшой треугольной шляпе. Тяжелые сапоги – ботфорты – и зеленый кафтан с широкими красными обшлагами закиданы снегом. Скакал, видимо, во всю мочь по Москве.

Князь Мартын, увидав офицера, стал разевать – разинул рот: это был его обидчик, Преображенский поручик Алексей Бровкин – один из царских любимцев.

– Бояре, бросайте дела... (Алешка, торопясь, держался за распахнутую дверь.) Франц Яковлевич помирает...

Тряхнул париком, нагло (как все они – безродные выкормки Петровы) сверкнул глазами и понесся – каблуками, шпорами – по гнилым полам приказной избы. Вслед ему косились плешивые повытчики: «Потише бы надо, бесстрашной, здесь не конюшня».

5

Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками – датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капало с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах. Разгораясь все более, поднимал кубок из кокосового ореха и пил за братский союз царя Петра с королем датским и курфюрстом бранденбургским. Перед окнами двенадцать пушек на ярко-зеленых лафетах враз (когда мажордом у окна взмахивал платком) ударяли громовым салютом. Клубы белого порохового дыма застилали солнечное небо.

Лефорт откидывался на золоченом стульчике, широко раскрывал глаза, завитки парика прилипали к побледневшим щекам:

– Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам... Рыбою одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей засеем хоть тысячи верст. А дикое поле – южные степи, где в траве скрывается всадник! Выбьем оттуда татар, – скота у нас будет, как звезд на небе. Железо нам нужно? – руда под ногами. На Урале – горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас? Позовем англичан, голландцев. Своих заставим. Не оглянетесь – будут у нас всякие мануфактуры. Наукам и искусствам посадских людей обучим. Купца, промышленника вознесем, как и не чаяли.

Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланникам. От вина и его речей пришли они в изумление. В зальце было душно. Лефорт велел мажордому раскрыть оба окна и с удовольствием втягивал ноздрями талый, холодный воздух. До вечерней зари он осушал чаши за великие прожекты. Вечером поехал к польскому послу и там танцевал и пил до утра.

На другой день Франц Яковлевич, против обыкновения, почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром* приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог, – зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Он нюхал мочу и мокроты, цыкал языком, скреб нос. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство.

Пастор Штрumpf (вслед за служкой, звонящим в колокольчик), держа над головой дары, с трудом протискивался в большом зале. Лефорт во дворец гудел голосами, – съезжалась вся Москва. Хлопали двери, дули сквозняки. Сустились потерянные слуги, иные уже пьяные. Жена Лефорта, Елизавета Францевна, встретила пастора у дверей в мужнину спальню, – увядшее лицо – в красных пятнах, унылый нос – исплакан. Малиновое платье кое-как зашнуровано, жиденькие прядки волос висели из-под парика. Адмиральша была до смерти напугана, видя столько подъезжающих знатных особ. По-русски она почти не говорила, всю жизнь провела в задних комнатах. Суя сложенные ладони в грудь пастору, шептала по-немецки:

– Что я буду делать? Такое множество гостей... Господин пастор Штрumpf, посоветуйте мне – может быть, подать легкую закуску? Все слуги – как сумасшедшие, никто меня не слушает. Ключи от кладовых под подушкой у бедного Франца. (Слезы полились из бледно-желтых глаз адмиральши, она стала шарить за лифом, вытащила мокрый платок, уткнулась в него.) Господин пастор Штрumpf, я боюсь выходить в зал, я так всегда теряюсь... Что будет, что будет, пастор Штрumpf?..

Пастор приличным случаю баском сказал адмиральше утешительные слова. Провел ладонью по сизо обриту лицу, согнал с него земную суету и вошел в опочивальню.

Лефорт лежал на широкой измятой постели. Туловище его было приподнято на подушках. Щетина отросла на впавших щеках и на высоком черепе. Он дышал часто, со свистом, выпячивая желтые ключицы, будто все еще пытался влезть, как в хомут, в жизнь. Открытый рот запекся от жара. Жили одни глаза – черные, неподвижные.

Лекарь Поликоло отвел в сторону пастора Штрумпфа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами:

– Сухие жилы, – сказал он, – коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом, в сем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каждой минутой притекает к телу по все более узким каналцам, и надо ждать полного закрытия оных мокротами.

Пастор Штрумпф тихо сел у изголовья умирающего. Лефорт недавно очнулся от бреда и беспамятства и о чем-то заметно беспокоился. Услышав свое имя, он с усилием перевел было глаза на пастора и опять стал глядеть туда, где в камине дымило серое полено. Там, над каминными завитками, лежал Нептун – бог морей – с трезубцем, под локтем его из золоченой вазы лилась золотая вода, разбегаясь золотыми завитками. Посредине, в черной дыре, дымило полено.

Штрумпф, стараясь отвести взор адмирала к распятию, говорил о надежде на вечное спасение, в коем не отказано никому из живущих... Лефорт что-то пробормотал невнятно. Штрумпф нагнулся к лиловым губам его. Лефорт – сквозь частое дыхание:

– Много не говори...

Все же пастор исполнил свой долг: дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях. Поняли, что он зовет мажордома. Побежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями, с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:

– Позови музыкантов... Друзей... Чаши...

На цыпочках вошли музыканты, – не одетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам и на шестидесяти рогах – серебряных, медных и деревянных – заиграли менюэт, роскошный танец.

Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки, – вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть.

Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти – Кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели: приворотным зельем опаивал он царя Петра, – да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо – Лефортов дворец...

Рассказывали: помирая, Лефорт приказал музыкантам играть, шутам скакать, плясцам плясать, и сам – зеленый, трупный – сорвался с постели, да и заскакал... А во дворце на чердаках как завоет, засвищет нечистая сила!..

Семь дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. Четыре офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, четыре – внизу, у помоста. Вдова в скорбном платье сидела внизу перед помостом на раскладном стуле.

Бояре всходили на помост, свернув нос и губы в сторону, – чтобы не опоганиться, – касались щекой синей руки чертова адмирала. Потом, подойдя к вдове, – поясной поклон: пальцами до полу, и – прочь со двора.

На восьмой день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его, – шестерней, – пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Разномастные лошади с трудом поводили мокрыми ребрами. Из-за полости высунулась рука, – шарила ремень – отстегнуть.

Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова, на крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.

– Отъезжай с клячами, ну, чего стал на дороге, – сказала она царскому кучеру.

Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из возка полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках. Вылез, высокий: Санька, глядя на него, задрала голову... Кругловатое лицо – осунувшееся, глаза – припухшие, темные усики – торчком. Батюшки, – царь!

Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись. Узнал посаженую дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта. Сказал глухо:

– Горе, горе...

И пошел во дворец, размахивая рукавами тулупа. Санька – за ним.

Вдова на стуле, увидев царя, обомлела. Сорвалась. Хотела пасть в ноги. Петр обнял ее, прижал, поверх ее головы глядел на гроб. Подбежали слуги. Сняли с него тулуп. Петр косолапо, в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик, и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном, затылок натянулся.

У Саньки, глядевшей на его спину, глаза раскисли от слез, – подпершись по-бабьи, тихо, тонко выла. Так жалела, так чего-то жалела... Он пошел с помоста, сопя, как маленький. Остановился перед Санькой. Она горько закивала ему.

– Другого такого друга не будет, – сказал он. (Схватился за глаза, затряс темными, слежавшимися за дорогу, кудреватými волосами.) – Радость – вместе и заботы – вместе. Думали одним умом... (Вдруг отнял руку, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В залo входили, торопливо крестясь, бояре – человек десять.)

По месту – старшие первыми – они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи. Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже, – стоял чужой, надменный. Раздувались крылья короткого носа.

– Рады, рады, вижу! – сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок.

6

Этой осенью в Немецкой слободе, рядом с лютеранской киркой, выстроили кирпичный дом по голландскому образцу: в восемь окон на улицу. Строил приказ Большого дворца, торопливо – в два месяца. В дом переехала Анна Ивановна Монс, с матерью и младшим братом Виллимом.

Сюда, не скрываясь, ездил царь и часто оставался ночевать. На Кукуе (да и в Москве) так этот дом и называли – царицын дворец. Анна Ивановна завела важный обычай: мажордома и слуг в ливреях, на конюшне – два шестерика дорогих польских коней, кареты на все случаи.

К Монсам, как прежде бывало, не завернешь на огонек аустерии – выпить кружку пива. «Хе-хе, – вспоминали немцы, – давно ли синеглазая Анхен в чистеньком передничке разносила по столам кружки, краснела, как шиповник, когда кто-нибудь из добряков, похлопав ее по девичьему задку, говорил: «Ну-ка, рыбка, схлебни пену, тебе цветочки, мне пиво...»

Теперь у Монсов бывали из кукуйских слобожан лишь почтенные люди торговых и мануфактурных дел, и то по приглашению, – в праздники, к обеду. Шутили, конечно, но пристойно.

Всегда по правую руку Анхен сидел пастор Штрumpf. Он любил рассказывать что-нибудь забавное или поучительное из римской истории. Полнокровные гости задумчиво кивали кружками с пивом, приятно вздыхали о бренности. Анна Ивановна в особенности добивалась приличия в доме.

За эти годы она налилась красотой: в походке – важность, во взгляде – покой, благонаравие и печаль. Что там ни говори, как ни кланяйся низко вслед ее стеклянной карете, – царь приезжал к ней спать, только. Ну а дальше что? Из Поместного приказа жалованы были Анне Ивановне деревеньки. На балы могла она убрать себя драгоценностями не хуже других и на грудь вешала портрет Петра Алексеевича, величиной в малое блюдо, в алмазах. Нужды, отказа ни в чем не было. А дальше дело задерживалось.

Время шло. Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от южного моря к северному. Анна Ивановна слала ему письмеца, и – при каждом случае – цитронов, апельсинов по полдюжине (доставленных из Риги), колбасы с кардамоном, настоечки на травах. Но разве письмецами да посылками долго удержишь любовника? Ну, как привяжется к нему баба какая-нибудь, вьестся в сердце? Ночи без сна ворочалась на перине. Все непрочно, смутно, двоясь. Враги, враги кругом – только и ждут, когда Монсиха споткнется.

Даже самый близкий друг – Лефорт, – едва Анна Ивановна околицами заводила разговор – долго ли Питеру жить в неряшестве, по-холостецки, – усмехался неопределенно, – нежно щипал Анхен за щечку: «Обещанного три года ждут...» Ах, никто не понимал: даже не царского трона, не власти хотела бы Анна Ивановна, – власть беспокойна, ненадежна... Нет, только прочности, опрятности, приличия...

Оставалось одно средство – приворот, ворожба. По совету матери, Анна Ивановна однажды, вставши с постели от спящего крепко Петра, зашила ему в край камзола тряпочку маленькую со своей кровью... Он уехал в Воронеж, камзол оставил в Преображенском, с тех пор ни разу не надевал. Старая Монсиха приваживала в задние комнаты баб-ворожей. Но открыться им – на кого ворожить – боялись и мать и дочь. За колдовство князь-кесарь Ромодановский вздергивал на дыбу.

Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну простой человек (с достатком), – ах, променяла бы все на безмятежную жизнь. Чистенький домик, – пусть без мажордома, – солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках, пахнет из кухни жареным кофе, навевая успокоение, звякает колокол на кирке, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна за рукодельем...

Со смертью Лефорта будто черная туча легла на голову Анны Ивановны. Она столько плакала за эти семь дней (до приезда Питера), что старая Монсиха велела привезти лекаря Поликоло. Тот приказал промывательное и очистительное, чтобы удалить излишние мокроты, появившиеся в крови вследствие огорчения. Анна Ивановна – сама хорошенько не понимая почему – с ужасом ожидала приезда Питера. Вспоминалось его землистое лицо со щекой, раздутой от зубной боли, когда он после самой страшной из стрелецких казней сидел у Лефорта. В расширенных глазах застыл гнев. Красные от мороза руки лежали перед пустой тарелкой. Не ел, не слушал застольных шуток. (Шутили, стуча зубами.) Не глядя ни на кого, заговорил непонятно:

– Не четыре полка, их – легион... На плахи ложились – все крестились двумя перстами... За старину, за нищенство... Чтобы наготовить* и юродствовать... Посадские люди! Не с Азова надо было начинать, – с Москвы!

По сей день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера в то время. Чувствовала, в жестокие тревоги толкает ее от тихого окна этот мучительный человек... Зачем? Уж не антихрист ли и вправду он, как шепчут русские? По вечерам в постели, при кротком свете восковой свечи, Анна Ивановна, ломая руки, плакала отчаянно:

– Мама, мама, что я сделаю с собой? Я не люблю его. Он придет – нетерпеливый... Я – мертвая... Может быть, мне лучше лежать в гробу, как бедному Францу.

Неприбранная, с припухшими веками, неожиданно утром она увидела в окно, как за изгородью на ухабистой улице остановился царский возок. Не засуетилась на этот раз: пусть – какая есть, – в чепце, в шерстяной шали. Идя через садик, Петр тоже увидел ее в окошке, покивал без улыбки. В сенях вытер о коврик ноги. Трезвый, смирный.

– Здравствуй, Аннушка, – сказал мягко. Поцеловал в лоб. – Осиротели мы. – Сел у стены, около стенных часов, медленно качавших смеющимся медным лицом на маятнике. Говорил вполголоса, будто дивясь, что смерть так неразумно оплошала. – Франц, Франц... Плохим был адмиралом, а стоил целого флота. Это – горе, это – горе, Аннушка... Помнишь, как в первый раз привел меня к тебе, ты еще девочка была, – испугалась, как бы я не сломал музыкальный ящик... Не того смерть унесла... Нет Франца! – непонятно...

Анна Ивановна слушала, – закрылась до самых глаз пуховой шалью. Не приготовилась – не знала, что ответить. Слезы ползли под шаль. За дверью осторожно позвякивали посудой. Всклипнув носом, полным слез, пробормотала, что Францу, наверно, хорошо сейчас у Бога. Петр странно взглянул на нее...

– Питер, вы ничего не ели с дороги, прошу вас остаться откусать. Как раз сегодня ваши любимые поджаренные колбаски...

С тоской видела, что и колбаски его не прельстили. Присела рядом, взяла его руку, пахнущую овчиной, стала целовать. Он другой рукой погладил ей волосы под чепцом:

– Вечерком заеду на часок... Ну, будет тебе, будет, – всю руку замочила... Поди принеси колбаску, чарку водки... Поди, поди... А то мне дела много сегодня.

7

Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. За колесницей цугом (в шестнадцать вороных коней) несли на подушках шляпу, шпагу и шпоры адмирала. Ехал всадник в черных латах и перьях, держа опрокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье. За ними – бояре, окольничие, думные и московские дворяне – до тысячи человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев.

Не видя поблизости царя, кое-кто из бояр понемногу рысью опережал иноземных послов, чтобы первым быть в шествии. Послы пожимали плечами, перешептывались. У кладбища их совсем оттерли. Роман Борисович Буйносов и весьма глупый князь Степан Белосельский брели у самых колес, держась за колесницу. Многие русские были навеселе: собрались к выносу чуть свет, подвело животы, не дожидаясь поминок, потеснились у столов, уставленных блюдами с холодной едой, поели и выпили.

Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятись за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича:

– Почему они вперед послов пролезли? Кто велел?

– Я уж срамил, лаял, не слушают, – тихо ответил Лев Кириллович.

– Собаки! (И – громче.) Собаки, не люди! – Дернул шеей, завертел головой, лягнул ботфортом. Послы и посланники протискивались сквозь раздавшуюся толпу бояр к могиле, где один, около открытого гроба, чужой всем, озябший, в суконном кафтанишке, стоял царь. Все со страхом глядели, что он еще выкинет. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.

– Закрывай... Опускай...

Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить, – огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:

«Чертушку похоронили, а другой остался, – видно, еще мало людей перевел».

8

Торговых и промысловых дел добрые люди, оставя сани за воротами и сняв шапки, поднимались по длинной – едва не от середины двора – крытой лестнице в Преображенский дворец. Гости⁶ и купцы гостинной сотни приезжали на тройках, в ковровых санях, – входили, не робея, в лисьих, в пупковых шубах гамбургского сукна. Обветшала палата была плохо топлена. Бойко поглядывая на прогнувшийся щелястый потолок, на траченное молью алое сукно на лавках и дверях, говорили:

– Строенье-то – не ахти... Она и видна, боярская-то забота. Жалко, жалко...

Собрали сюда торговых людей наспех, по именным спискам. Кое-кто не приехал, боясь, как бы не заставили есть из никонианской посуды и курить табак. Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан великий указ: «Известно государю учинилось, что гостям и гостиным сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волостях от воевод, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах чинятся большие убытки и разорения... Милосердую, он, государь, об них указал: во всяких их расправных, судных и челобитных, и купецких делах, и в сборах государственных доходов – *ведать бурмистрам их и в бурмистры выбирать* им меж себя погодно добрых и правдивых людей, – кого они меж себя похотят. А из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом...» В городах, в посадах и слободах указано ж выбирать для суда и расправы и сбора окладных податей земских бурмистров из лучших и правдивых людей, а для сбора таможенных пошлин и питейных доходов выбирать таможенных и кабацких бурмистров – кого похотят. Бурмистрам *думать* и торговыми и окладными делами *ведать* в особой Бурмистерской палате, и ей со спорами и челобитными входить – мимо приказов – к одному государю.

Для Бурмистерской палаты отведено было в Кремле, близ храма Иоанна Предтечи, строение староцарского дворца с подвалами – где хранить казну.

Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег (давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской – теперь сами там сели): ветхий дворец покрыли новой крышей – под серебро, покрасили снаружи и внутри, вставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу.

За избавление от воеводского разорения и приказной неправды купечество должно было теперь платить двойной против прежнего оклад. Казне – явная прибыль. Ну а купечеству? – как сказать.

Действительно, от воевод, от приказных людей и людишек не стало житья: алчны, как волки, не уберегись – горло перервут, в Москве затаскают по судам, разденут, а в городах и посадах затамят на правеже на воеводином дворе. Это все так...

Но многие, – конечно, кто похитрее, – оберегались и жили не совсем плохо: воеводе поклонился рублем, подьячему послал сахарцу, сукнеца или рыбки, повытчика зазвал откупать чем Бог послал. У иного богатея не то что воевода или приказный – дьявол не дознается, сколько у него товаров и денег. Конечно, такие орлы, – Митрофан Шорин – первый купец гостинной сотни, или Алексей Свешников, – эти, – как на ладони, к ним на двор и митропо-

⁶ Торговые агенты правительства, из богатых купцов. (Примеч. А.Н. Толстого.)

лит ездит. Рады платить хоть тройной оклад в Бурмистерскую палату, – там им честь, и сила, и порядок. Ну а, скажем, Васька Ревякин старший? В лавчонке его в скобяном ряду товару на три алтына, – сидит, глаза тряпочкой вытирает. А между прочим, знающие люди говорят: кабальных душ крестьянских за ним, посчитать, тысячи три. Не то что мужик или посадский, – редкий купец не бывал у него в долгу по тяжелой записи. И нет такого города, такого посада, где бы Ревякин не держал скобяного склада и лавчонки, и все это у него записано на родственников и приказчиков. Ухватить его никакими средствами нельзя: как налим – гол и скользок. Ему Бурмистерская палата – разорение, – от своих не скроешься.

В ожидании царского выхода купечество – постарше – сидело на лавках, меньшие стояли. Понимали: нужны, значит, денежки надёже-государю, хочет поговорить по душам. Давно бы так, – по душам-то... Бывавшие здесь впервые не без страха поглядывали на раскрашенные львами и птицами двери сбоку тронного места (трона не было, остался один балдахин).

Петр вышел неожиданно из боковой дверцы, – был в голландском платье, – красный, видимо выпивший. «Здорово, здорово», – повторял добродушно, здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним – несколько человек: Митрофан Шорин и Алексей Свешников (в венгерских кафтанах): братья Осип и Федор Баженины – серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах; низенький и важный Иван Артемьич Бровкин – скоро-богатеи – обрит наголо, караковый парик до пупа; суровый думный дьяк Любим Домнин и какой-то – по одеже простой посадский – неведомый никому человек, с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех.

Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени. «Садитесь, садитесь», – сказал пригнувшемуся купечеству. Помялись. Он велел, дернул головой. Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять, думный дьяк Любим Домнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них:

– Вот таких бы побольше у нас... Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать... В Англии, в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры, и нам – ввести тот же обычай. Верно я говорю? (Обернулся направо, налево. Приподнял бровь.) Вы что мнетесь? Денег, боитесь, буду у вас просить? По-новому надо начинать жить, купцы, вот что я хочу...

Момонов, богатый суконщик, спросил, поклонясь:

– Это как – по-новому жить, государь?

– Отучаться жить особе... Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя, вы – люди торговые... Учиться надо торговать не в одиночку – кумпаниями. Ост-Индская кумпания в Голландии – милое дело: сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли... Нам у них учиться... В Европе – академии для сего. Желаете – биржу построим не хуже, чем в Амстердаме. Составляйте кумпании, заводите мануфактуры... А у вас одна наука: не обманешь – не продашь...

Молодой купчик, влюбленно глядевший на царя, вдруг ударил шапкой о руку:

– Это верно, у нас это так...

Его стали тянуть за полу в толпу. Он, – вертя головой, пожимая плечами:

– А что? Разве не правда? На обмане живем, один обман, – обвешиваем, обмериваем...

Петр засмеялся (невесело, баском, кругло раскрыв рот). Близстоящие также посмеялись вежливо. Он, оборвав смех, – строго:

– Двести лет торгуете, – не научились... Возле богатства ходите... Опять все то же убожество, нагота. Копейку наторговал и – в кабак. Так, что ли?

– Не все так, государь, – проговорил Момонов.

– Нет, так! (Раздувая ноздри.) За границу поезжайте, поглядите на тех купцов, – короли! Нам ждаться недосуг, покуда сами научитесь... Иную свинью силой надо в корыто мордой совать... Почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое... Лес, руды, промыслы... Почему свои не могут? В Воронеж, черт-те откуда, один человек приехал, такие развел тарара, такие прожекты! У вас, говорит, золотой край, только люди вы бедные... Отчего сие? Я смолчал... Спрашиваю, – или не те люди живут в нашем краю? (Оглянул купцов вылезшими глазами.) Бог других не дал. С этими надо справиться, так, что ли? Мне русские люди иногда поперек горла... Так уж поперек. (Ухо у него натянулось, шейная жила вот-вот дернется.)

Тогда Иван Артемьич, сидевший рядом с ним, проговорил добро, нараспев:

– Русских били много, да били без толку, вот и уроды получились.

– Дурак! – крикнул Петр. – Дурак! – И локтем ткнул его в бок.

Иван Артемьич – еще придурковатее:

– Ну, вот, а я-то что говорю...

Петр с минуту бешено глядел на лоснящееся, придурковато сощуренное, с дурацкой улыбкой лицо Бровкина. Ладонью щелкнул его по лбу:

– Ванька, шутком быть тебе еще не велено!

Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве – неразумно. Купцы – не бояре: тем податься некуда, вотчину в кармане не унесешь. Купец, как улитка: чуть что – рожки спрятал и упятился с капиталом... Действительно, в палате стало тихо, отчужденно. Иван Артемьич хитрой щелкой глаза повел на Петра.

– Читай, Любим, – сказал Петр дьяку.

Братья Баженины опять почтенно потупились. Любим Домнин высоким голосом сухо, медленно читал:

– «...дана сия милостивая жалованная грамота за усердное радение и к корабельному строению тщание... В прошлом году Осип и Федор Баженины в деревне Вовчуге построили с немецкого образца водяную пильную мельницу *без заморских* мастеров, сами собою, чтобы на той мельнице лес растирать на доски и продавать в Архангельске иноземцам и русским торговым людям. И они лес растирали и к Архангельску привозили, и за море отпускали. И есть у них намерение у того своего завода строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. И мы, великий государь, их пожаловали, – велели им в той их деревне строить корабли и яхты и, которые припасы к тому корабельному строению будут вывезены из-за моря, пошлин с них имать не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы, – держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелье против иных торговых иноземческих кораблей...»

Долго читал дьяк. Свернул в трубку грамоту с висящей печатью, положи на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги, – все чин чинном, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уж не по царскому обычаю, – ликуясь, щечкой, – а в рот, крепко.

– То дорого, что почин, – сказал он купечеству. Отыскал бегающими зрачками не известного никому посадского с цыганской бородой, залысым лбом. – Демидыч! (Тот, резко пхаясь, пролез сквозь толпу.) Демидыч, поклонись купечеству... Никита Демидов Антуфьев – тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него коротки. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо – земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, я за тебя поручусь.

– Ты кто? Тебе зачем? Кого здесь нужно?

Суровая широкоплечая баба недобрым взглядом осматривала Андрея Голикова (палехского иконописца). У него под коричневой, в дырах и клочьях, сермягой пупырчатая кожа мелко дрожала. Дул сырой мартовский ветер. Свистели голые кусты на обветшалой стене Белого города. Тревожно кричали вороны, взлетая, – косматые и голодные, – над кучами мусора. Неперелазные заборы купца Василия Ревякина тянулись вдоль сошедшихся углом московских стен. Место было угрюмое, переулки тесные, пустынные.

– От старца Авраамия, – прошептал Андрей и плотно приложил два перста ко лбу. За спиной бабы, на разъезженном колеями дворе, у покосившихся амбаров, вставали на дыбки на цепях поджарые кобели... Андрюшка весь обледел, горячи были одни глаза. Баба, помедлив, пропустила его на двор, указала идти по брошенным в грязь доскам к высокому и длинному строению, без лестницы и крыльца. Под самой крышей хлопали ставни на слюдяных окошечках.

Спустились в темные сени, где пахло кадками. Баба толкнула Андрюшку:

– Ноги вытри о солому, не в хлеву, – и, подождав, – все так же недружелюбно: – Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Отворила низенькую дверь в подклеть. Здесь было жарко, углями из печи озарялись в углу темные доски икон. Андрей долго крестился на страшные глаза древних ликов. Робея, остался у двери. Баба села. За стеной глухо пели многие голоса.

– Зачем тебя старец послал?

– На подвиг.

– Какой?

– На три года к старцу Нектарию.

– К Нектарию, – протянула баба.

– Сюда послал, чтобы к нему дорогу указали. В мире жить не могу, – телу голодно, душе страшно. Боюсь. Ищу пустыни, райского жития (Андрюшка потянул носом)... Смилуйся, матушка, не прогони.

– Старец Нектарий сотворит тебе пустыню, – проговорила баба загадкой. Видные от света углей глаза ее сузились.

Андрей стал рассказывать: вот уже более полугода он бродит меж двор, умирает голодною и озябает студеною смертью. Связывался со всякими людьми, подбивали его на воровские дела. «Не могу, душа ужасается». Рассказывал, как этой зимой в снежные вьюги ночевал под худыми крышами городских стен: «Соломки достану, рогожей укроюсь. Вьюга воет, снег крутит, мертвые стрельцы на веревках пляшут, о стену бьются. Взалкал в эти ночи тихого пристанища, безмолвного жития...»

Расспросив доточно про старца Авраамия, баба со вздохом поднялась: «Иди за мной». Повела Андрюшку опять через темные сени вниз по ступеням. Велев быть на нищем месте, впустила в подполье, где пели голоса. Горячо пахло воском и ладаном. Человек тридцать и более стояло на коленях на скобленном полу. За бархатным аналоем читал кривоплечий человек в черном подряснике и скуфье. Перелистывая ветхую страницу рукописного Требника, поднимал клочкастую бороду к свечным огням. По всей стене, даже от пола, горели свечи перед большими и малыми иконами старого новгородского письма.

Служили по беспоповскому чину. Пели сумрачно, гнусовато. Направо от старца, впереди молящихся, на коленях стоял маленький козлинобородый Василий Ревякин. Перебирал лестницу*, то вскидывал глаза на лики, то, чуть обернувшись, косился, – и под глазком его молящиеся истовее клали поклоны, даже до изъязвления лба.

Кривоплечий старец закрыл книгу, поднял ее над головой, повернулся: выдранная клочками борода, нестарое лицо с перешибленным носом. Вперясь расширенными зрачками будто в страшное видение, разинув рот с выбитыми зубами, возопил:

– Праведного Ипполита, папы римского, словеса помянем: «По пришествии времени антихристовая Церковь Божия позападает и упразднится жертва бескровная. Прельщение содеется в градах и в селах, в монастырях и в пустынях. И никто не спасется, только малое число...»

Страшен был голос. Молящиеся упали на лица, содрогнулись плечами. Старец стоял со вздетой книгой, откуда плач не стал всеобщим.

– Братие, что я вам расскажу (окончив службу, говорил старец, схватясь за деревянный крест на груди). Была надо мной милость Божия. Привел Господь меня на Вол-озеро, в пустынь, к старцу Нектарию. Поклонился я старцу, и он спросил меня: «Что хочешь: душу спасти или плоть?» Я сказал: «Душу, душу!» И старец сказал: «Благо тебе, чадо». И душу мою спасал, а плоть умерщвлял... Кушали мы в пустыне вместо хлеба траву напорть и кислицу, и дубовые желуди, и с древес сосновых кору отымали и сушили, и, со рыбою вместе истолокши, – то нам и брашно* было. И не уморил нас Господь. А како я терпел от начальника моего с первых дней: по дважды на всякий день бит был. И в Светлое воскресенье дважды был бит. И того за два года сочтено у меня по два времени на всякий день – боев тысяча четыреста и тридесять. А сколько ран и ударов было на всякий день от рук его честных – того и не считаю. Пастырь плоть мою сокрушал: что ему в руки прилунилось – тем и жаловал меня, свою сиротку и малого птенца. Учил клюкою и пестом, чем в ступе толкут, и кочергою, и поварнями, в чем яству варят, и рогаткою, чем тесто творят... Того ради тело мое начальник изъязвлял, чтобы душа темная просветилась... Коромыслом, на чем ушаты с водою носят, тем древом из ноги моей икра выбита, чтобы ноги мои на послушание готовы были. И не только древом всяким, но и железом, и камением, и за волосы рванием, а ино и кирпичом тело мое смирял. В то время персты рук моих из суставов выбиты, и ребра мои и кости переломаны. И Господь не уморил меня. Ныне немощен телом, но духом светел... Братие, не разленитесь о душе своей!

– Не разленитесь о душе своей! – три раза провопил старец, немилосердно въедаясь глазами в оробевшую паству. Здесь были всё родственники, свояки, крепостные люди Василия Ревякина: его приказчики, амбарные и лавочные сидельцы. Слушая, они сокрушенно вздыхали. Иные не вытерпивали иступленного взгляда старца. Андрей Голиков сгибался от рыданий, схватив себя за щеки, плакал, желтые лучи от огоньков свечей сквозь слезы колыхались по всей моленной, будто крылья архангелов.

Старец поясno поклонился пастве и отошел. На место его встал сам Василий Ревякин, низенький, седатый, вместо глаз – две морщины, где непойманно бегали зрачки. Перебирая лестницу, тихо, человечно заговорил:

– Дорогие мои, незабвенные... Страшно! Возлюбленные, страшно! Был светел день, нашла туча, все житие наше смрадом покрыла... (Оглянулся через правое, через левое плечо, будто не стоит ли кто за ним. Мягко в чесаных валеночках шагнул вперед.) Антихрист уж здесь. Слышите? Воссел на куполах церкви никонианской. Щепоть – печать его, щепотникам нет спасения: уж пожраны суть... И тем, кто пьет и ест со щепотниками, нет спасения. Кто от попа таинство примет – нет спасения, – просфоры их клейменные и священство их мнимое... Как нам спастись? Мы слышали, как спасаются-то. Никого не держу, – идите, уходите, милые, примите муки, просветитесь. Лишними заступниками будете за нас, грешных и слабых. Может, и сам я уйду... Амбары, лавки закрою, товары, животишки раздам нищим. Единое спасение – дедовская вера, послушание да страх... (Горько помотал бородкой, вытер ресницы суконным рукавом. Паства затихла. Не дышали, не шевелились.) Благо, кому вместится... А кому не вместится – и тот не отчаивайся. Старцы замолят. Одного больше смерти бойтесь – как бы лукавый под локоть не толкнул... Не прежние времена: слуги его невидимые обступили каждого, только того и ждут... Согреши, душой покриви, копейку утаи от хозяина... Будто бы – малость? Копейка! Нет... Кинутся на тебя, и пропал, – на вечную муку... Бойтесь, чтобы старцы молиться за вас не перестали... (Еще шагнул вперед, лестовкой хлестнул себя

по ляжке.) Ишь ты, прельщение какое: Бурмистерская палата!.. Вот где – ад, прямой ад... От древности купечество платило оклады в казну, и за всем тем мое тайное дело: чем торгую, как торгую... Господь разумом наградил – вот и купец. А дурачок век в батраках прозябнет. Бурмистеров выбирать! Он – и в амбар, он и в сундук ко мне... Все ему скажи, все покажи... Зачем? Кому нужно? Антихристову сеть накидывают на купечество... А еще – почта! Зачем? Я верного человека пошлю в Великий Устюг, скорее почты доедет и скажет, что нужно, – тайно... А почтой, – разве я знаю, какой человек мое письмо повезет? Нет, нам ни почты не надо, бурмистров не надо, окладов двойных не платить, и с иноземцами, с никонианами табаку не курить. (Не хотел, а рассердился. Дрожащей лиловатой рукой полез в карман, вынул платок, вытерся. Покачал головой, глядя на догоравшие свечи. Вдохнул тяжело и кончил.) Ужинать пойдемте...

Все, кто был в моленной, пошли через сени и поварню рядом в подклеть. Сели за дощатый стол, покрытый крашениной, в красном углу, где ужинали Василий Ревякин и трое старых приказчиков – его двоюродные братья. Попросили было и старца под образа. Но он вдруг громко плюнул и пошел к двери, к нищим, сидевшим на полу. С ними был и Андрей.

Посреди стола горела сальная свеча. Из темноты приходила суровая баба с полными чашками. Иногда с потолка падал таракан. Ели молча, степенно жевали, тихо клали ложки. Андрей пододвинулся поближе к старцу. Держа чашку на коленях, согнувшись, капая на клочкастую бороду, старец судорожно хлебал, обжигался, – хлеб ел маленькими кусками. Откушав и помолясь, сложил на животе руки. По замутившимся глазам видно было, что подобрел.

Андрей тихо ему:

– Батюшка мой, хочу к старцу Нектарию. Пусти.

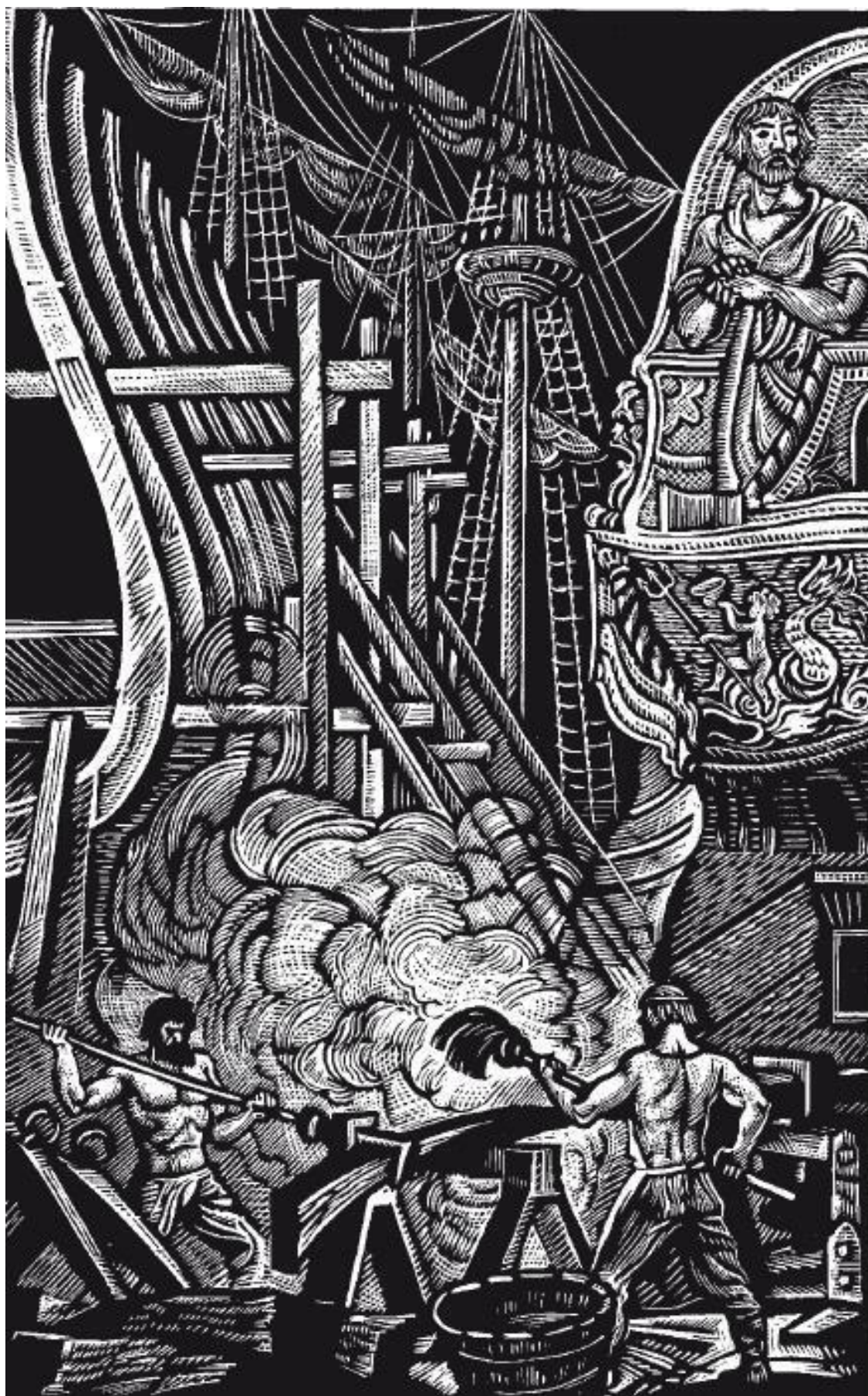
Старец задышал часто. Но глаза опять осовели:

– Ужо, лягут спать, – приходи в моленну. Я тебя попытаю.

Андрей содрогнулся, – в тоске, в обречении стал ерзать затылком по заусенцам бревенчатой стены.

10

С юга, с Дикого поля, дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах, заливавших равнину. Вдудились речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж-река, затопило верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные нептуны морды. Трепало паруса, поднятые для просушки. В мутных водах шуршали, ныряя, последние льдины. Над стенами крепости – на правой стороне реки, напротив Воронежа, – взлетали клубы порохового дыма, ветер рвал их в клочья. Катились по водам пушечные выстрелы, будто сама земля взбухла и лопалась пузырями.



На верфи шла работа день и ночь. Заканчивали отделку сорокапушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. К нему то и дело отплывали через реку ладьи, груженные порохом, солониной и сухарями, – причаливали к его черному борту. Течением натягивало концы, трещало дерево. На корме, на мостике, перекрикивая грохот катящихся по палубе бочек, визг блоков, ругался по-русски и по-португальски коричневомордый капитан Памбург – усищи дыбом, глаза – как у бешеного барана, ботфорты – в грязи, поверх кафтана – нагольный полушубок, голова стянута шелковым красным платком. «Дармоеды! Щукины дети! Карраха!» Матросы выбивались из сил, вытягивая на борт кули с сухарями, бочки, ящики, – бегом откатывали к трюмам, где хрипели цепными кобелями боцмана в суконных высоких шапках, в коричневых штанах пузырями.



Над рекой на горе покривились срубчатые островерхие башни, за ветхими стенами ржавели маковки церквей. Перед старым городом по склону горы раскиданы мазаные хаты и дощатые балаганы рабочих. Ближе к реке – рубленые избы новоназначенного адмирала Головина* Александра Меншикова, начальника Адмиралтейства Апраксина* вице-адмирала Корнелия Крейса. За рекой, на низком берегу, покрытом щепой, изрытом колесами, стояли закопченные, с земляными кровлями, срубы кузниц, поднимались ребра недостроенных судов, полузатопленные бунты досок, вытащенные из воды плоты, бочки, канаты, заржавленные якоря. Черно дымили котлы со смолой. Скрипели тонкие колеса канатной сучильни. Пильщики махали плечами, стоя на высоких козлах. Плотовщики бегали босиком по грязи, вытаскивали баграми бревна, уносимые разливом.

Главные работы были закончены. Флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделяемый с особенным тщанием. Через три дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага.

То и дело рвали дверь, входили новые люди, не раздеваясь, не вытирая ног, садились на лавки, а кто побольше – прямо к столу. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, – в избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок.

Вице-адмирал Корнелий Крейс спал за столом, уткнув лицо в расшитые золотом обшлага. Шаутбенахт* русского флота, голландец Юлиус Рез, – отважный морской бродяга, с головой, оцененной в две тысячи английских фунтов за разные дела в далеких океанах, – тянул анисовую, насупившись на свечу одноглазым свирепым лицом. Корабельные мастера Осип Най и Джон Дей, обросшие щетиной за эти горячие дни, попыхивали трубками, насмешливо подмигивали русскому мастеру Федосею Склеяеву. Федосей только что пришел, распустив шарф, расстегнув тулупчик, хлебал лапшу со свининой...

– Федосей, – говорил ему Осип Най, подмигивая рыжими ресницами. – Федосей, расскажи, как ты пировал в Москве?

Федосей ничего не отвечал, хлебая. Надоело, в самом деле. В феврале вернулся из-за границы, и надо бы сразу – по письму Петра Алексеевича – ехать в Воронеж. Черт попутал. Закрутился в Москве по приятелям, и пошло. Три дня – в чаду: блины, закуски, заедки, винище. Кончилось это, как и надо было думать: очутился в Преображенском приказе.

Царь, узнав, что жданный любимец его Федосей сидит за князем-кесарем, погнал в Москву нарочного с письмом к Ромодановскому:

«Мин хер кениг... В чем держишь наших товарищей, Федосея Склеяева и других? Зело мне печально. Я ждал паче всех Склеяева, потому что он лучший в корабельном мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судит. Истинно никого нет мне здесь помощника. А, чаю, дело не государственное. Для Бога освободи и пришли сюды. *Питер*».

Ответ от князя-кесаря дней через десять привез сам Склеяев:

«Вина его вот какая: ехал с товарищами пьяный и задрался у рогаток с солдатами Преображенского полку. И по розыску явилось: на обе стороны не правы. И я, разыскав, высек Склеяева за его дурость, также и солдат-челобитчиков высек, с кем ссора учинилась. В том на меня не прогневишь, – не обык в дуростях спускать, хотя б и не такова чину были».

Ладно. Тому бы и конец. Петр Алексеевич, встретив Склеяева, обнимал и ласкал, и хлопал себя по ляжкам, и изволил не то что засмеяться, а ржал до слез... «Федосей, это тебе не Амстердам!» И письмо князя-кесаря за ужином прочел вслух.

Съев лапшу, Федосей оттолкнул чашку, потянулся к Осипу Наю за табаком.

– Ну, будет вам, посмеялись, дьяволы, – сказал грубым голосом. – В трюм, в кормовую часть, лазили сегодня?

– Лазили, – ответил Осип Най.

– Нет, не лазили...

Медленно вынув глиняную трубку, опустив углы прямого рта, Джон Дей проговорил через сжатые зубы по-русски:

– Почему ты так спрашиваешь, что мы будто не лазили в трюм, Федосей Склаев?

– А вот потому... Чем мыргать на меня – взяли бы фонарь, пошли.

– Течь?

– То-то, что течь. Как начали грузить бочки с солониной, – шпангоуты* расперло, и снизу бьет вода.

– Этого не может случиться...

– А вот может. О чем я вам говорил, – кормовое крепление слабое.

Осип Най и Джон Дей поглядели друг на друга. Не спеша встали, надвинули шапки с наушниками. Встал и Федосей, сердито замотал шарф, взял фонарь.

– Эх вы, генералы!

К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками что попадется с блюд: жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря...

У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами – линек. (Им он потчевал кого надо.) Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо-лениво:

– Куда прешь, куда, бодлива мать?..

За перегородкой, в спальню половине, сидели сейчас государственные люди: адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин – начальник Адмиралтейства – и Александр Данилович Меншиков. Этот, после смерти Лефортова, сразу жалован был генерал-майором и губернатором псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон: «Были у меня две руки, осталась одна, хоть и вороватая, да верная».

Алексашка, в преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь, – у стола. Слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц на Дунае, со съезда* где цезарский, польский, венецианский и московский послы договаривались с турками о мире.

Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтоб министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал:

– Учинена мною с турецкими послами, рейс-эфенди Рами и тайным советником Маврокордато, армисция, сиречь уняtie оружия на время. Большого добиться было нельзя. Сами судите, господа министры: в Европе сейчас такая каша заваривается, – едва ли не на весь мир. Испанский король дряхл, не сегодня-завтра помрет бездетным. Французский король добивается посадить в Испанию своего внука Филиппа и уж женил его, держит при себе в Париже, ожидая – вот-вот короновать. Император австрийский, с другой стороны, хочет сына своего Карла посадить в Испанию...

– Да знаем, знаем это все, – нетерпеливо перебил Алексашка.

– Потерпи уж, Александр Данилович, говорю, как умею (седым взором поверх очков Возницын тяжело уставился на красавца), решается великий спор меж Францией и Англией. Будет Испания за французским королем, – французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором, – англичане тогда с одним француз-

ским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они и свели в Карловичах австрийцев с турками. Для войны с французским королем австрийскому цезарю надобно руки себе развязать. И турки усердно рады мириться, чтоб отдохнуть, собраться с силами: принц Евгений Савойский много у них земель и городов побрал за цезаря, в Венгрии, в Семиградской земле и в Морее, и цезарцы⁷ уж в самый Цареград смотрят... Туркам сейчас забота – свое вернуть... Воевать отдаленно – с поляками или с нами – сейчас и в мыслях нет... Тот же Азов, – не стоит он того, что им надобно под ним потерять.

– Так ли турецкий султан слаб, как ты успокаиваешь? Сомнительно, – проговорил Алексашка. (Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой.)

Алексашка, – подрожав ляжкой, позвенева шпорой:

– А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют сорок тысяч городовых стрельцов, да в Ахтырке собран конный большой полк Шеина, да в Брянске готовы суда для переправы. Не с голыми руками тебя посылали... Армисциция!

Прокофий Возницын медленно снял очки. Трудно было привыкнуть к новым порядкам, – чтобы мальчишка без роду-племени так разговаривал с великим послом. Проведя сухой ладонью по задрожавшему от гнева лицу, Прокофий собрался с мыслями. Лаем, конечно, тут ничего не возьмешь.

– А вот почему не мир, – учинена армисциция, Александр Данилович... Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецийцами, тайно, одни, переговаривались с турками. И поляки тайно от нас договорились. И нас бросили одних. Турки, приведя дела с цезарцами к удовольствию, с нами вначале и говорить не хотели, так надулись... Не будь там старинного моего знакомого Александра Маврокордато, – и армисциции бы у нас не было... Вы здесь сидите, господа министры, думаете – на вас вся Европа смотрит... Нет, для них мы – малый политик, можно сказать – никакой политик...

– Ну, это еще бабка надвое...

– Подожди, не горячись, Александр Данилович, – мягко остановил его Головин.

– На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили... Ходить никуда не велели, ни с турками видаться, ни пересылаться с ними. Еще будучи в Вене, взял я одного дохтура, бывалого поляка. Дохтура и стал засылать в турецкий стан к Маврокордато-то. Послал раз. Маврокордато велел кланяться. Послал в другой. Маврокордато велел кланяться и сказать, что *студено*. Я рад. Взял кафтан свой черно-бурых лисиц, на малиновом сукне, послал его с дохтуром, велел ехать кругом посольских станом – степью. Маврокордато кафтан взял, на другой день посылает мне табаку, два чубука добрых, да кофе с фунт, да писчей бумаги. Ах, ты, думаю, отдаривается... И опять ему на возу – икры паюсной, спинки осетровых, пять теш белужьих больших, наливок разных... Да и сам поехал ночью в турецкий стан, один, в простом платье. А турки как раз в тот день подписали с цезарем мир...

– Эх! – топнул шпорой Алексашка.

– Маврокордато мне: «Вряд ли, – говорит, – будет у нас с вами удовольствие, если не вернете нам днепровские городки, чтобы Днепр запереть и ход вам заградить навсегда в Черное море, и Азов придется отдать, и крымскому хану вам дань платить по-старинному...» Вот, Александр Данилович, как с первого-то разговора турки начали задираться... А ведь я – один. Союзники свои дела кончили, разъехались... Воронежским флотом грожу. Турки смеются: «В первый раз слышим, чтобы за тысячу верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через гирло вам не перелезть...» Грозил и украинским войском, а они мне – татарами:

⁷ Цезарцы – австрийцы; Евгений Савойский – австрийский полководец; Семиградская земля, или Трансильвания – восточная часть Румынии; Морея – южная часть Греции. (Примеч. А. Н. Толстого.)

«Смотрите, у татар сейчас руки развязаны, как бы вам они не сделали как при Девлет Гирее»⁸. Не будь у турок заботы – обвалили бы они на нас войну... Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армисция – все-таки не война...

Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона.

Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы, по пояс голые, с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи, – все валились с ног, отмахивали руки, почернели. Отдыхающие (сменялись несколько раз в ночь) сидели тут же: кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей.

Старший мастер Кузьма Жемов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле (куда был взят из тульской тюрьмы – в вечную работу), покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках.

Наваривали лапы большому якорю для «Крепости». Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жемов здоровой рукой (другая была замотана тряпкой) ковырял в углях, приговаривал:

– Не ленись, не ленись, поддай...

Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке с мазками копоты на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гузку, осторожно длинными клещами поворачивал в том же горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое – наварка такой большой части...

Жемов, – обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока:

– Берись... Слушай... (И – Петру.) В самый раз, а то пережжем... (Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.) Быстро, навались... Давай!..

Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, шелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов – уже шепотом:

– Нагибай, клади... Клади плотнее... (Якорь лег.) Сбивай окалину. (Загорающимся веником стал омахивать окалину.) Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал диким голосом.) Что же ты! Давай!

– Есть.

Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне, – едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил...

– Плотнее! – крикнул Жемов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами, с оттяжкой. Петр держал лапу, Жемов постукивал молотком – так-так-так, так-так-так. Жгучая окалина брызгала в фартуки.

Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан. Вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову. Тот весь собрался морщинами:

– Что ж, бывает, Петр Алексеевич... Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то, – так и человека можно задеть и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела...

Петр промолчал, вымыл руки в чане, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шур-

⁸ При Иоанне Грозном крымцами была сожжена Москва и около полмиллиона человек убито и уведено в плен. (Пр и меч. А. Н. Толстого.)

шали льдины. Покачивался мачтовый огонь на «Крепости». Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу, у самой воды.

Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда, – с удовольствием закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывал блюда:

– Слышь-ка, – сказал он круглобородному человеку (с удивленно задранными бровями, на маленьком лице – ярко-голубые глаза, – знаменитый корабельный плотник Аладушкин), – Мишка, вон то передай, – указал через стол на жареную говядину, обложенную мочеными яблоками. Присев на скамью, напротив спящего вице-адмирала, медленно – как пьют с усталости – выпил чарочку, – пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче. Жуя, плюнул косточкой в плешь Корнелию Крейсу:

– Чего, пьяный, что ли?

Тогда вице-адмирал поднял измятое лицо и – простуженным басом:

– Ветер – зюйд, зюйд-вест, один балл. На командорской вахте – Памбург. Я отдыхаю. – И опять уткнулся в расшитые рукава.

Поев, Петр сказал:

– Что ж у вас тут не весело? – Положил кулаки на стол. Минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку. Сел на кровать. (Министры почтительно стояли.) Большим пальцем плотно набил в трубочку путаного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой: – Ну, здравствуй, великий посол.

Стариковские ноги Возницына, в суконных чулках, подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, – поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет. Петр сказал, навалился локтем на подушку:

– Алексашка, подними великого посла... Ты, Прокофий, не сердись, – устал я чего-то... (Возницын, отстраня Меншикова, сам поднялся, обиженный.) Письма твои читал. Пишешь, чтобы я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, – по старинке. Верю... (Зло открыл зубы.) Цезарцы! Англичане! Ладно, – в последний раз так-то ездили кланяться... Сядь. Рассказывай.

Возницын опять стал рассказывать про обиды и великие труды на посольском съезде. Петр все это уже знал из писем, – рассеянно дымил трубочкой.

– Холоп твой, государь, скудным умишком своим так рассудил: если турок не задирать, то армисцицию можно тянуть долго. Послать к туркам какого ни на есть человека – умного, хитрого... Пусть договаривается, время проводит, – где и посулит чего уступить, так ведь магометан, государь, и обмануть не грех, – Бог простит.

Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечой, глядел строго.

– Еще что скажете, бояре? (Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы.)

Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так, сразу, и ответить... По-прежнему, как говаривали в Думе, – витиевато, вокруг да около, – этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы.

– Ну? – спросил его Петр.

– Что ж, Прокофий по-дедовски рассудил: канитель путать! Нынче нам так не подходит...

Лев Кириллович, – с одышкой, горячась:

– Сам Бог не допустил, чтобы мы с турками мир подписали. Иерусалимский патриарх со слезами нам пишет: охраните Гроб Господень. Молдавский и валахский господа едва не на коленях молят спасти их от турецкой неволи. А мы, – да, Господи! (Петр насмешливо: «А ты не плачь...») Лев Кириллович осекся, разинув рот и глаза. И – опять.) Государь, не быть нам без

Черного моря! Слава Богу, сила у нас теперь есть, и турки слабы... Не как Васька Голицын, – не в Крым нам идти, а через Дунай на Цареград, – крест воздвигнуть на Святой Софии.

Рогатые парики тревожно колыхались. Глаз Петра все так же поблескивал непонятно, трубочка похрипывала. Смирный Апраксин сказал тихо:

– Мир лучше войны, Лев Кириллович, война – дорога. Замиритесь с турками хоть на двадцать пять лет, хоть на десять, не отдав ни Азова, ни днепровских городков, – чего лучше... (Покосился на Петра, вздохнул.)

Петр встал, но места – шагать – было мало, сел на стол:

– Все мне на вас, на дворян, на вотчинников оглядываться! Дворянское ополчение! Влезут, гладкие дьяволы, на коней, саблю не знают в какой руке держать. Дармоеды, истинно дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми!.. Архангельск – одна дыра на краю света: англичане, голландцы что хотят, то и дают, за грош покупают... Митрофан Шорин рассказывал: восемь тысяч пудов пеньки сгноил в амбарах, три навигации выжидал цену. Энти ироды ходят мимо – только смеются... А лес! За границей лес нужен, весь лес – у нас, а мы кланяемся: купите... Полотно! Иван Бровкин: лучше, говорит, я его сожгу вместе с амбаром в Архангельске, чем отдам за такую цену... Нет! Не Черное море – забота... На Балтийском море нужны свои корабли.

Выговорил слово... Длинный, чумазый, глядел со стола выпученными глазами на господ министров. Насупились. Воевать с татарами, ну, с турками, хоть и трудно, – привычная забота. Но Балтийское море воевать? Ливонцев, поляков?... Шведов воевать? Лезть в европейскую кашу? Лев Кириллович пошарил полной рукой по торчащей поле кафтана, вынул орехового шелка платок, вытерся. Возницын качал сухоньким лицом. Петр, – потащив из штанов кисет:

– С турками теперь, не как Прокофий, по-новому будем просить мира... Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе...

– Конечно! – вдруг сказал Алексашка, заблестев глазами.

11

По мутному полноводному Дону плыли на полосатых парусах, наполненных теплым ветром, восемнадцать двухпалубных кораблей, впереди и позади них – двадцать галиотов и двадцать бригантин* скампавей*, яхты, галеры: восемьдесят шесть военных судов и пятьсот стрелков с казаками далеко растянулись на поворотах реки.

С высоких палуб видны были зазеленевшие степи, ряби поемных озер. Караваны птиц летели на север. Иногда вдали белели меловые кряжи. Дул зюйд-ост, вначале противный ветер, – и много пришлось положить трудов, пока не повернули по Дону на запад: заполоскались паруса, корабли дрейфовали, бешено орали капитаны в медные трубы. Приказ по флоту был такой:

«Никто не дерзает отстать от командорского корабля, но за оным следовать под пеной. Ежели кто отстанет на три часа, – четверть года жалованья, ежели на шесть – две трети, ежели на двенадцать часов, – за год жалованья вычесть».

После поворота на юго-запад поплыли шутя. Ненадолго разливались над степью пышные и влажные закаты. Катился выстрел с адмиральского корабля. Били склянки.* Огоньки ползли на верхушки мачт. Убирались паруса, с плеском падал якорь. На помрачневших берегах зажигались костры, протяжно кричали казачьи голоса.

С темной громады «Апостола Петра» (где в звании командора состоял царь) ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвивалась в звездное небо ракета. В кают-компаниях собирались ужинать. С ближайших кораблей приплывали в эти и без того пьяные ночи адмиралы, капитаны, ближние бояре.

Близ Дивногорского монастыря к флоту присоединились шесть судов, построенных кумпанством князя Бориса Алексеевича Голицына. По сему случаю стали на якорь под меловым берегом, два дня пировали на вольном воздухе в монастырском саду. Соблазняли монахов игрой на рогах и двусмысленными шутками, пугали стрельбой из восьмисот корабельных пушек.

Снова по всей реке надувались паруса. Плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. Мимо новых боярских и монастырских вотчин, рыбных промыслов. Под городком Панышиным видели на левом берегу тучи конных калмыков с длинными копьями, а на правом – казаков в четырехугольнике обоза, с двумя пушками. Калмыки и казаки съехались биться, не поделив табуны коней и осетровые ятови*.

Воевода Шеин пошел на шлюпке к калмыкам, Борис Алексеевич Голицын – к казакам. Помирили. По сему случаю на зеленых холмах пировали под медленно плывущими облаками, под летящими караванами журавлей. Корнелиус Крейс с похмелья велел наловить черепах и сам сварил похлебку из них. Петр тоже велел наловить черепах и угостил бояр чудным блюдом, а когда поели, – показал черепаший головы. Воеводе Шеину сделалось тошно. Много смеялись.

Двадцать четвертого мая, в жаркий полдень, из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло сорокапушечных кораблей.

Покуда вице-адмирал промеривал рукав Дона – Кутюрму, а Петр ходил на яхте в Азов и Таганрог – осматривать крепости и форты, – прибыло из Бахчисарая ханское посольство на красивых конях, с вьючным обозом. Разбили ковровые шатры, на холме воткнули бунчук – конский хвост с полумесяцем на высоком копье, послали переводчика узнать – примет ли царь поклон от хана и подарки? Послам ответили, что царь-де в Москве, а здесь его наместник адмирал Головин с бояры. Три дня веял бунчук на холме. Татары поскакивали на горячих конях перед жерлами пушек. На четвертый посольство пришло на адмиральский корабль. Разостлали белый анатолийский ковер*, положили дары: кованый арчак* для седла, сабельку, пистолы, нож, сбрую, – все – так себе, в серебре, с дешевыми камнями. Головин важно сидел на раскладном стуле, татары – на ковре, поджав ноги. Говорили о перемирии, подписанном Возницыным, о том и о сем, пощипывая реденькие раздвоенные бороды, шарили повсюду глазами, быстрыми, как у морской собаки, цокали языками:

– Карош москов, карош флот... Только напрасно надеетесь, большими кораблями Кутюрмой вам не пройти, не так давно султанский флот так-то пытался войти в Дон, ни с чем вернулся в Керчь...

По всему видно, что прибыли только для разведки. Наутро ни бунчука, ни шатров, ни всадников уже не было на холме.

Промеры показали, что Кутюрма мелка. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйд-вест, – если нагонит в гирло морскую воду.

Из Таганрога вернулся Петр. Помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга. Началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное за зиму, высыхалось. Из трюмов выкачивали воду. Неподвижно, с убранными парусами, корабли лежали в мареве зноя.

Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в Кутюрме продолжала спадать.

Двадцать второго июня в обеденный час шаутбенахт Юлиус Рез, выйдя, багровый и тяжелый, из жаркой, как баня, кают-компаний – помочиться с борта, – увидел вращающимся глазом

на юго-западе быстро растущее серое облако. Справя нужду, Олиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:

– Идет шторм.

Петр, адмиралы, капитаны выскочили из-за стола. Разорванные облака неслись в вышине, из-за беловатой водной пелены поднимался мрак. Солнце калило железным светом. Мертво повисли флаги, выпелы, матросское белье на вантах. По всем судам боцмана засвистали аврал – все наверх! Крепили паруса, заводили штормовые якоря.

Туча закрывала полнеба. Помрачились воды. Мигнул широкий свет из-за края. Засвистало в снастях, крепче, тревожнее. Защелкали выпелы. Ветер налетел всею силой в крутящихся, раскиданных обрывках тьмы. Заскрипели мачты, полетели сорванные с вантов* подштанники. Ветер мял воду, рвал снасти. Судорожно цеплялись за них матросы на реях. Топали ногами капитаны, перекрикивая нарастающую бурю. Пенные волны заплескались о борта. Треснуло небо раскатами, разрывающими душу ударами, загрохотало, не переставая. Упали столбы огня.

Петр, без шляпы, со взвитыми полами кафтана, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба, раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля, в гребни волн. Юлиус Рез закричал ему в ухо:

– Это ничего. Сейчас будет самый шторм.

Шторм пролетел, натворив много бед. Молнией убило двух матросов на берегу. Порвало якорные канаты, сломило несколько мачт, повывкидало на берег, затопило много мелких судов. Но зато установился крепкий зюйд-вест: то, что и надо было.

Вода в Кутюрме быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни гребных стругов, подхватив на длинных бечевах, повели первым «Крепость». От вежи к веже, ни разу не царапнув килем, он вышел через Кутюрму в Азовское море, выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга.

В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли: «Апостол Петр», «Воронеж», «Азов», «Гут Драгерс» и «Вейн Драгере». Двадцать седьмого июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога.

Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить разошедшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту «Крепости», посвистывая, стучал молотком по конопати. Либо, выпитив поджарый зад в холщовых замазанных штанах, лез по выбленкам* на мачту – крепить новую рею. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Склеяев (порукавший до матерного лая с Джоном Деом и Осипом Наем). Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.

– Петр Ликсеич, вы мне уж не мешайте, для Бога, – неласково говорил Федосей, – плохо получится мое крепление, – отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь под руку...

– Ладно, ладно, я помогу только...

– Идите помогайте вон Аладушкину, а то мы с вами только поругаемся...

Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез делал непрерывные ученья судовым командам, взятым из солдат Преображенского и Семеновского полков. Среди них много было детей дворянских, сроду не видавших моря. Юлиус Рез – по свирепости и отваге истинный моряк – линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бом-брам-реях* на двенадцати саженьях над водой, прыгать с борта головой вниз в полной одежде: «Кто утонет, тот не моряк!» Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, челюсть, как у медвежьего кобеля, все видел, пират, одним глазом: кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. «Эй, там, на стеньга-стакселе*, грязный корофф, как травишь фал?» Топал башмаком: «Все – на шканцы*... Снашала!»

Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытейший из дельцов Посольского приказа, с ним – дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба* и полтора пуда чаю.

Четырнадцатого августа «Крепость» поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом, при крепком северо-восточном ветре вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. Семнадцатого с левого борта на ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани, флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние, высокие квадратные башни кое-где обвалились. Ни фортов, ни бастионов. Близ берега стояли четыре корабля. Турки, видимо, переполошились, – не ждали, не гадали увидеть весь залив, полный парусов и пушечного дыма.

Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. Он послал приставов на московский адмиральский корабль – спросить, зачем пришел такой большой караван? Месяц тому назад ханские татары доносили, что царский флот худой и совсем без пушек и через азовские мели ему сроду не пройти.

– Ай-ай-ай... Ай-ай-ай, – тихо причитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли. Бросил. – Кто поверил ханским лазутчикам? – закричал он к чиновникам, стоявшим позади него на башенной площадке, загаженной птицами. – Кто поверил татарским собакам?

Муртаза затопал туфлями. Чиновники, сытые и обленившиеся в спокойном захолустье, прикладывали руки к сердцу, сокрушенно качали фесками и чалмами. Понимали, что Муртазе придется писать султану неприятное письмо, и как еще обернется: султан, хоть и пресветлый наместник пророка, но вспыльчив, и бывали случаи, когда и не такой паша, кряхтя, садился на кол.

Косой парус фелюги с приставами отделился от адмиральского корабля. Муртаза послал чиновника на берег торопить посланных и сам снова принялся считать корабли. Пристава – два грека – явились, подкатывая глаза, вжимая головы в плечи, щелкая языками. Муртаза свирепо вытянул к ним жирное лицо. Рассказали:

– Московский адмирал велел тебе кланяться и сказать, что они провожают посланника к султану. Мы сказали адмиралу, что ты-де не можешь пропустить посланника морем, – пусть едет, как все, через Крым на Бабу* Адмирал сказал: «А не хотите пускать морем, так мы всем флотом до Константинополя проводим посланника».

Муртаза-паша на другой день послал важных беев к адмиралу. И беи сказали:

– Мы вас, московитов, жалеем, вы нашего Черного моря не знаете, – во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей на Бабу.

Адмирал Головин только надулся: «Испугали». И стоявший тут же какой-то длинный, с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись.

Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построения, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавах. Откажи таким нахалам? Надеясь на одного Аллаха, Муртаза-паша затягивал переговоры.

Шлюпка подошла к турецкому адмиральскому кораблю. На борт поднялись Корнелий Крейс и двое гребцов в голландском матросском платье – Петр и Алексашка. На шканцах турецкий экипаж отдал салют московскому вице-адмиралу. Адмирал Гассан-паша важно вышел из кормовой каюты, – был в белом шелковом халате, в чалме с алмазным полумесяцем. С достоинством приложил пальцы ко лбу и груди. Корнелий Крейс снял шляпу, пятась, повел перьями перед Гассаном-пашой.

Подали два стула. Адмиралы сели под парусиновым навесом. Низенький жирный человек – охолощенный повар – принес на подносе блюда со сладкими заедками, кофейник и чашечки, чуть побольше наперстка. Адмиралы начали приличный разговор. Гассан-паша спросил про здоровье царя. Корнелий Крейс ответил, что царь здоров, и сам спросил про здоровье султанского величества. Гассан-паша низко склонился над столом: «Аллах хранит дни султанского величества...» Глядя печальными глазами мимо Корнелия Крейса, сказал:

– В Керчи мы не держим большого флота. Здесь и бояться некого. Зато в Мраморном море у нас могущие корабли. Пушки на них столь велики, – могут даже бросать каменные ядра в три пуда весом.

Корнелий Крейс, – прихлебывая кофе:

– Наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по восемнадцати и по тридцати фунтов весом. Оные пронизывают неприятельский корабль сквозь оба борта.

Гассан-паша чуть поднял красивые брови:

– Мы немало удивились, увидев, что в царском флоте прилежно служат англичане и голландцы – лучшие друзья Турции...

Корнелий Крейс – со светлой улыбкой:

– О Гассан-паша, люди служат тому, кто больше дает денег. (Гассан-паша важно наклонил голову.) Голландия и Англия ведут прибыльную торговлю с Москвией. С царем выгоднее жить в мире, чем в войне. Московия столь богата, как никакая другая страна на свете.

Гассан-паша – задумчиво:

– Откуда у царя столько кораблей, господин вице-адмирал?

– Московиты выстроили их сами в два года...

– Ай-ай-ай, – качал чалмой Гассан-паша.

Покуда адмиралы беседовали, Петр и Алексашка угощали турецких матросов табаком, всячески смешили их. Гассан-паша нет-нет и взглядывал на этих высоченных парней, – чересчур были любопытны. Вон один полез на мачту, в бочку. Другой наострил глаз на английскую скоростреляющую пушку. Но из вежливости Гассан-паша промолчал, даже когда матросы увели московитов на нижнюю палубу.

Корнелий Крейс просил позволения съехать на берег – купить фруктов, сластей и кофе. Гассан-паша, подумав, сказал, что, пожалуй, он сам бы мог продать кофе господину вице-адмиралу.

– Много ли тебе нужно кофе?

– Червонцев на семьдесят.

– Абдула-Алла, – крикнул Гассан-паша, топнул пяткой. Вперевалку подбежал охолощенный повар. Выслушав, вернулся с весами. За ним матросы тащили мешки с кофе. Гассан-паша удобнее подвинулся со стулом, проверил весы, вытащил из-за пазухи янтарные четки – отсчитывать меры. Приказал развязать мешок. Пересыпая в холеных пальцах зерна, полужакрыл глаза.

– Это кофе лучшего урожая на Яве. Ты мне скажешь спасибо, господин вице-адмирал. Я вижу, ты – хороший человек. (Нагнувшись к его уху.) Не хочу тебе зла, – отговори московитов плыть морем: у берегов много подводных камней и опасных мелей. Мы сами боимся этих мест.

– Зачем плыть вдоль берегов, – ответил Корнелий Крейс, – нашему кораблю курс прямой через море, был бы ветер попутный.

Он отсчитал семьдесят червонцев. Простились. Подойдя к трапу, Корнелий Крейс крикнул сурово:

– Эй, Петр Алексеев!..

– Здесь! – торопливо отозвался голос.

Петр, за ним Алексашка выскочили из люка, на обоих – красные фески. Вице-адмирал помахал адмиралу шляпой, сел на руль, шлюпка помчалась к берегу. Петр и Алексашка, налегая на гнущиеся весла, весело скалили зубы.

С прибойной волной шлюпка врезалась в береговую гальку. От крепостных ворот мимо гнилых лодок и прозеленевших свай торопливо шли пристава и давешние беи просить никак не заходить в город, а если нужда какая, купчишки принесут сюда, в шлюпку, всякие товары... У Петра забегали зрачки, гневом вспыхнули щеки. Алексашка, – держа поднятое торчком весло:

– Мин херц, да скажи ты... Подойдем флотом на пушечный выстрел... В самом деле...

– Не пускать – это их право; это – крепость, – сказал Корнелий Крейс. – Мы погуляем по берегу около стен, мы увидим все, что нужно.

12

Муртаза-паша больше ничего не мог придумать: плывите, Аллах с вами. Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. Двадцать восьмого августа «Крепость», взяв на борт посла, дьяка и переводчиков, сопровождаемый четырьмя турецкими военными кораблями, обогнул керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма.

Турецкие корабли следовали за ним в пене, за кормой. На переднем находился пристав. Гассан-паша остался в Керчи, – в последний час просил, чтоб дали ему хотя бы письменное свидетельство, что царский посланник едет сам собой, а он, Гассан, ему не советует. Но и в этом было отказано.

В виду Балаклавы пристав сел в лодку, поравнялся с «Крепостью» и стал просить зайти в Балаклаву – взять свежей воды. Отчаянно махал рукавом халата на рыжие холмы.

– Хороший город, зайдем, пожалуйста.

Капитан Памбург, облокотись о перила, пробасил сверху:

– Будто мы не понимаем, приставу нужно зайти в Балаклаву – взять у жителей хороший бакшиш* за посланнический корм. Ха! У нас водой полны бочки.

Приставу отказали. Ветер свежел. Памбург поглядел на небо и велел прибавить парусов. Тяжелые турецкие корабли начали заметно отставать. На переднем взвились сигналы: «Убавьте парусов». Памбург уставился в подзорную трубу. Выругался по-португальски. Сбежал вниз, в кают-компанию, богато отделанную ореховым деревом. Там, у стола на навощенной лавке, страдая от качки, сидел посол Емельян Украинцев, – глаза закрыты, снятый парик зажат в кулаке. Памбург – бешено:

– Эти черти приказывают мне убавить парусов. Я не слушаю. Я иду в открытое море.

Украинцев только слабо махнул на него париком:

– Иди куда хочешь.

Памбург поднялся на корму, на капитанский мостик. Закрутил усы, чтобы не мешали орать:

– Все наверх! Слушать команду! Ставь фор-бом-брам-сели... Грот... Крюс-бом-брам-сели... Фор-стенга-стаксель, фока-стаксель... Поворот на левый борт. Так держать...

«Крепость», скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя, как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской* прямо на Цареград...

Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. Шестнадцать человек команды – голландцы, шведы, датчане, все – морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки: идти было легко, шутя. Зато половина воинской команды – солдаты и пушкари – валялась в трюме между

бочками с водой и солониной. Памбург приказывал всем больным отпускать водки три раза в день: «К морю нужно привыкать!»

Шли день и ночь, на второй день взяли рифы, – корабль сильно зарывался, черпал воду, пенная пелена пролетала по всей палубе. Памбург только отфыркивал капли с усов.

Сильно страдало качкой великое посольство. Украинцев и дьяк Чередеев, лежа в кормовом чулане, – маленькой свежевывкрашенной каюте, – поднимали головы от подушек, взгляды вали в квадратное окошечко... Вот оно медленно падает вниз, в пучину, зеленые воды шипят, поднимаются к четырем стеклышкам, с тяжелым плеском заслоняют свет в чулане. Скрипят перегородки, заваливается низенький потолок. Посол и дьяк со стоном закрывали глаза.

Ясным утром второго сентября юнга, калмычонок, закричал с марса, из бочки: «Земля!» Близились голубоватые, холмистые очертания берегов Босфора. Вдали – косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех: «Мыться. Чистить кафтаны. Надеть парики».

В полдень «Крепость» под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. На крепостном валу, на мачте, взвились сигналы: «Чей корабль?» Памбург велел ответить: «Надо знать московский флаг». С берега: «Возьмите лоцмана». Памбург поднял сигналы: «Идем без лоцмана».

Украинцев надел малиновый кафтан с золотым галуном, шляпу с перьями, дьяк Чередеев (костлявый, тонконосый, похожий на великомученика суздальского письма) надел зеленый кафтан с серебром и шляпу с перьями же. Пушкарки стояли у пушек, солдаты – при мушкетах на шканцах.

Корабль скользил по зеркальному проливу. Налево, среди сухих холмов, – еще не убранные поля кукурузы, водокачки, овцы на косогорах, рыбачьи хижины из камней, крытые кукурузной соломой. На правом берегу – пышные сады, белые ограды, черепичные крыши, лестницы к воде... Черно-зеленые деревья – кипарисы, высокие, как веретена. Развалины замка, заросшие кустарником. Из-за деревьев – круглый купол и минарет... Подходя ближе к берегу, видели чудные плоды на ветвях. Тянуло запахом маслин и роз. Русские люди дивились роскоши турецкой земли:

«Все говорят – гололобые-де бусурмане, а, смотри, как живут!»

Разлился далекий, будто за тридевять земель, золотой закат. Быстро багровея, угасал, окрасил кровью воды Босфора. Стали на якорь в трех милях от Константинополя. В ночной синеве выпали большие звезды, каких не видано в Москве. Туманом отражался Млечный Путь.

На корабле никто не хотел спать. Глядели на затихшие берега, прислушивались к скрипу колодца, к сухому треску цикад. Собаки и те брехали здесь особенно. В глубине воды уносились течением светящиеся странные рыбы. Солдаты, тихо сидя на пушках, говорили: «Богатый край, и живут тут, должно быть, легко...»

Поглядывая задумчиво на огонек свечи, светом своим заслонявшей несколько крупных звезд в черном окошечке кормового чулана, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце (в сем случае вытирал его о парик), и цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу:

«...Здесь мы простояли около суток... Третьего числа подошли отставшие турецкие корабли. Пристав со слезами пенял нам, зачем убежали вперед, за это-де султан велит отрубить ему голову, и просил подождать его здесь: он сам известит султана о нашем прибытии. Мы наказали, чтобы прием нам у султана был со всякою честью. К вечеру пристав вернулся из Цареграда и объявил, что султан нас примет с честью и пришлет за нами сюда сандалы – ихние

лодки. Мы ответили, что нет, – поплывем на своем корабле. И так мы спорили, и согласились плыть в сандалах, но с тем, что впереди будет плыть «Крепость».

На другой день прислали три султанских сандала с коврами. Мы сели в лодки, и впереди нас поплыл «Крепость». Скоро увидели Цареград, достойный удивления город. Стены и башни хотя и древнего, но могучего строения. Весь город под черепицу, зело предивные и превеликолепные стоят мечети белого камня, а София – песочного камня. И Стамбул и слобода Перу* с воды видны как на ладони. С берега в наше Сретенье была пальба, и капитан Памбург отвечал пальбой из всех пушек. Остановились напротив султанского сераля* откуда со стены глядел на нас султан, над ним держали опахало и его омахивали.

Нас на берегу встретили сто конных чаушей* и двести янычар с бамбуковыми батожками. Под меня и дьяка привели лошадей в богатой сбруе. И как мы вышли из лодки – начальник чаушей спросил нас о здоровье. Мы сели на коней и поехали на подворье многими весьма кривыми и узкими улицами. С боков бежал народ.

О твоём корабле здесь немалое удивление: кто его делал и как он мелкими водами вышел из Дона? Спрашивали, много ли у тебя кораблей и сколь велики? Я отвечал, что много, а дны у них не плоски, как здесь врут, и по морю ходят хорошо. Тысячи турок, греков, армян и евреев приезжают смотреть «Крепость», да и сам султан приезжал, три раза обошел на лодке кругом корабля. А наипаче всего хвалят парусы и канаты за прочность и дерево на мачтах. А иные и ругают, что сделан-де некрепко. Мне, прости, так мнится: плыли мы морем в ветер не самый сильный, и «Крепость» гораздо скрипел и набок накланивался и воду черпал. Строители-то его – Осип Най да Джон Дей, – чаю, не без корысти. Корабль – дело не малое, стоит города доброго. Здесь его смотрят, но не торгуют, и купца на него нет... Прости, пишу как умею.

А турки делают свои корабли весьма прилежно и крепко и сшивают зело плотно, – ростом они пониже наших, но воду не черпают.

Один грек мне говорил: турки боятся, – если твое царское величество Черное море запрешь, – в Цареграде будет голодно, потому что хлеб, масло, лес, дрова привозят сюда из-под дунайских городов. Здесь слух, что ты со всем флотом уж ходил под Трапезунд и Синоп.*

Меня спрашивали о сем, я отвечал: не знаю, при мне не ходил...»

Памбург с офицерами поехал в Перу к некоторым европейским послам спросить о здоровье. Голландский и французский послы приняли русских ласково, благодарили и виноградным вином поили за здоровье царя. К третьему поехали на подворье – к английскому послу. Слезли с лошадей у красного крыльца, постучали. Вышел огненнородый лакей в сажень ростом. Придерживая дверь, спросил, что нужно? Памбург, загоревшись глазами, сказал, кто они и зачем. Лакей захлопнул дверь и не слишком скоро вернулся, хотя московиты ждали на улице, – проговорил насмешливо:

– Посол сел за стол обедать и велел сказать, что с капитаном Памбургом видеться ему незачем.

– Так ты скажи послу, чтоб он костью подавился! – крикнул Памбург. Бешено вскочил на коня и погнал по плоским кирпичным лестницам, мимо уличных торговцев, голых ребятишек и собак, вниз на Галату, где еще давеча видел в шашлычных и кофейных и у дверей публичных домов несколько своих давних приятелей.

Здесь Памбург с офицерами напились греческим вином дузиком до изумления, шумели и вызывали драться английских моряков. Сюда пришли его приятели – штурмана дальнего плаванья, знаменитые корсары, скрывавшиеся в трущобах Галаты, всякие непонятные люди. Их всех Памбург позвал пировать на «Крепость».

На другой день к кораблю стали подплывать на каюках моряки разных наций – шведы, голландцы, французы, португальцы, мавры, – иные в париках, в шелковых чулках, при шпагах,

иные с головой, туго обвязанной красным платком, на босу ногу – туфли, за широким поясом – пистолеты, иные в кожаных куртках и зюйдвестках, пропахших соленой рыбой.

Сели пировать на открытой палубе под нежарким сентябрьским солнцем. На виду – за стенами – мрачный, с частыми решетками на окнах, дворец султана, на другой стороне пролива – пышные рощи и сады Скутари. Преображенцы и семеновцы играли на рожках, на ложках, пели плясовые, свистали разными птичьими голосами «весну».

Памбург в обсыпанном серебряною пудрой парике, в малиновой куртке с лентами и кружевами, – в одной руке – чаша, в другой – платочек, – разгорячась, говорил гостям:

– Понадобится нам тысяча кораблей, и тысячу построим... У нас уж заложены восьмидесятипушечные, стопушечные корабли. На будущий год ждите нас в Средиземном море, ждите нас на Балтийском море. Всех знаменитых моряков возьмем на службу. Выйдем и в океан...

– Салют! – кричали побагровевшие моряки. – Салют капитану Памбургу!

Затягивали морские песни. Стучали ногами. Трубочный дым слоился в безветрии над палубой. Не заметили, как и зашло солнце, как аттические звезды стали светить на это необыкновенное пиршество.* В полночь, когда половина морских волков храпела, кто сваясь под стол, кто склонив поседевшую в бурях голову между блюдами, Памбург кинулся на мостик:

– Слушай команду! Бомбардиры, пушкари, по местам! Вложи заряд! Забей заряд! Зажигай фитили! Команда... С обоих бортов – залп... О-о-огонь!

Сорок шесть тяжелых пушек враз выпыхнули пламя. Над спящим Константинополем будто обрушилось небо от грохота... «Крепость», окутанный дымом, дал второй залп...

Емельян Украинцев писал цифирью:

«...припал на самого султана и на весь народ великий страх: капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо и стрелял с корабля в полночь из всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло...

Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни в чем был, и многие министры и паши испужались, и от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сераля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Я султану отвечал, что мне неизвестно, для чего капитан стрелял, и я его о том спрошу, и если султанову величеству стрельба учинилась досадна, я капитану вперед стрелять не велю и жестоко о том прикажу, но с корабля снимать мне его незачем. Тем дело и кончилось.

Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзоморта-пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета – мир с тобой учинить или войну».

Глава вторая

1

Сентябрьское солнце невысоко стояло над лесистым берегом. День за днем, чем дальше уходили на север, – глуше становились места. Косяки птиц срывались с тихой реки. Бурелом, болота, безлюдье. Изредка виднелась рыбацья землянка да челн, вытасенный на берег. До Белого озера оставалась неделя пути.

Четырнадцать человек тянули бечевой тяжелую барку с хлебом. Уронив головы, уронив вперед себя руки, налегали грудью на лямки. Шли от самого Ярославля. Солнце заходило за черные зубцы елей, долго, долго томилось в мрачном зареве. С баржи кричали: «Эй, причаливай!» Бурлаки вбивали кол или прикручивали бечеву за дерево. Зажигали костер. В молочном тумане на болотистом берегу медленно тонул ельник. Длинношеей тенью в закате пролетали утки. Ломая валежник, приходили на реку лоси, рослые, как лошади. Зверья, небитого, непуганого, был полон лес.

По реке шлепали весла, – от баржи к берегу плыл сам хозяин, старец Андрей Денисов, – вез работникам сухари, пшеница, когда и рыбки, по скоромным дням – солонины. Осматривал, крепок ли причал. Засунув руки за кожаный пояс, останавливался у костра, – свежий мужчина, в подряснике, в суконной скуфейке, курчавобородый, ясноглазый.

– Братья, все ли живы? – спрашивал. – Потрудитесь, Бог труды любит. Веселитесь, – все вам зачтется. Одно счастье, – ушли от никонианского смрада. А уж когда Онег-озером пойдем – вот где край! Истинно райский...

Выдернув из-за пояса руки, садился на корточки перед огнем. Уставшие люди молча слушали его.

– В том краю на реке Выге жил старец... Так же вот бежал от антихристовой прелести. А прежде был купчиной, имел двор, и лавки, и амбары. Было ему видение: огонь и человек в огне и – глас: «Прельщенный, погибаю навеки...» Все отдал жене, сыновьям. Ушел. Срубил келью. Стал жить, причащался одним огнепальным желанием. Пахал пашню кочергой, сеял две шапки ячменю. Оделся в сырую козлиную кожу, она на нем и засохла, и так носил ее зимой и летом. Всей рухляди у него – чашечка деревянная с ложечкой да старописный молитвенник. И скоро он такую силу взял над бесами, – считал их за мух... Начали ходить к нему люди, – он их исповедовал и причащал листочком либо ягодкой. Учил: в огне лучше сгореть живым, но не принять вечной муки. Год да другой – люди стали селиться около него. Жечь лес, пахать под гарью. Бить зверя, ловить рыбу, брать грибы, ягоды. Все – сообща, и амбары и погреб – общие. И он разделил: женщин – особе, мужчин – особе.

– Это хорошо, – проговорил суровый голос, – с бабой жить – добра не нажить.

Веселым взором Денисов взглянул в темноту на говорившего.

– Молитвами старца и зверь шел в руки, и рыбину иной раз такую вытаскивали – диво! Урожались и грибы и ягоды. Он указал, и нашли руды медные и железные, – поставили кузницы... Истинно святая стала обитель, тихое житие...

Из-за валежника поднялся Андрюшка Голиков, присев около Денисова, стал глядеть ему в глаза. Голиков шел с бурлаками по обету. (В тот раз на ревякинском дворе старец исповедал Андрюшку, бил лестницей и велел идти в Ярославль дожидаться Денисовой баржи с хлебом.) Здесь из четырнадцати человек было девятеро таких же, пошедших по обету или епитимье.

Денисов рассказывал:

– В свой смертный час старец благословил нас, двоих братьев, Семена и меня, Андрея, быть в Выговской обители в главных. Причастил – и мы пошли. А келья его стояла поодаль, в

ложбинке. Только отошли, глядим – свет. Келья – в огне, как в кусте огненном. Я было побежал, Семен – за руку: стой! Из огня – слышим – сладкогласное пение... А сверху-то в дыму – черти, как сажа, крутятся, визжат, – верите ли? Мы с братом – на колени, и сами запели... Утром приходим на то место, – из-под пепла бежит ключ светлый... Мы над ключом сруб-чик поставили и голубок – для иконки... * Да вот иконописца не найти, – написать как бы хотелось.

Голиков всхлипнул. Денисов легонько погладил его по нечесаным космам:

– Одна беда, братцы мои, хлеб у нас через два года в третий не родится. Прошлым летом все вымочило дождями, и соломы не собрали. Приходится возить издалека... Да ведь дело святое, детушки... Не зря трудитесь.

Денисов еще поговорил немного. Прочел общую молитву. Сел в лодку, поплыл к барже через тусклую полосу зари на реке. Ночи были прохладные, спать студено в худой одежонке.

Чуть свет Денисов опять приплывал к берегу, будил народ. Кашляли, чесались. Помогаясь, варили кашу. Когда студенистое солнце несветлым пузырем повисало в тумане, бурлаки влезали в лямки, шлепали лаптями по прибрежной сырости. Версту за верстой, день за днем. С севера ползли грядами тучи, задул резкий ветер. Шексна разлилась.

Тучи неслись теперь низко над взволнованными водами Белого озера. Повернули на запад, к Белозерску. Волны набегали на пустынный берег, сбивали с ног бурлаков. Вести баржу стало трудно. В обед сушились в рыбацкой землянке. Здесь двое наемных поругались с Денисовым из-за пищи, взяли расчет – по три четвертака* ушли – куда глаза глядят...

Баржа стояла на якоре напротив города, на бурунах*. Ветер свежел, пробирал до костей. Отчаяние брало, – подумать только – идти бечевой на север. Наемные все разругались с Денисовым, разбрелись по рыбацким слободам. И остальные: кто знакомца встретил, кто повертелся, повертелся, и – нет его...

На берегу, на опрокинутой лодке, между мокрыми камнями, сидели Андрюшка Голиков, Илюшка Дехтярев (каширский беглый крестьянин) и Федька, по прозвищу Умойся Грязью, сутулый человек, бродяга из монастырских крестьян, ломанный и питанный много. Глядели по сторонам.

Все здесь было угрюмое: снежная от волн, мутная пелена озера, тучи, ползущие грядами с севера, за прибрежным валом – плоская равнина и на ней, почти накрытый тучами, ветхий деревянный город: дырявые кровли на башнях, ржавые луковки церквей, высокие избы с провалившимися крышами. На берегу мотались ветром жерди для сетей. Народу почти не видно. Уныло звонил колокол...

– Денисов-то, тоже, – ловок словами кормить. Покуда до его рая-то доберешься – одна, пожалуй, душа останется, – проговорил Умойся Грязью, ковыряя ногтем мозоль на ладони.

– А ты верь! (Голиков ему со злобой.) А ты верь! – и в тоске глядел на белые волны. Бесприютно, одиноко, холодно... – И здесь, должно быть, далеко до Богато...

Илюшка Дехтярев (большеротый, двужилый мужик с веселыми глазами) рассказывал тихо, медленно:

– Я, значит, его спрашиваю, этого человека: отчего на посаде у вас пустота, половина дворов заколочены?.. Оттого пустота на посаде, – он говорит, – монахи озорничают... Мы в Москву не одну челобитную послали, да там, видно, не до нас... На Святой неделе что они сделали – си лов нет... Выкатили монахи на десяти саях со святыми иконами, – кто в посад, кто в слободы, кто по деревням... Входят в избы, крест – в рыло, крестись щепотью, целуй крыж!.. И спрашивают хлеба, и сметаны, и яиц, и рыбы... Как веником, все вычистят. И деньги спрашивают... Ты, говорят, раскольник, беспоповец. Где у тебя старопечатные книги? И ведут человека на подворье, сажают на чепь и мучают.

Умойся Грязью вдруг закинул голову, захохотал хрипло:

– Вот едят, вот пьют! Ах, монахи, пропасти на них нет!

Дехтярев толкнул его коленом. К лодке, против ветра, придерживая развевающуюся рясу, подходил монах с цыганской бородой, – скуфья надвинута. Страшными глазами поглядел на судно, скрипящее на волнах, потом – на этих троих:

– Откуда баржа?

– Из-под Ярославля, отец, – ласково-лениво ответил Дехтярев.

– С чем баржа?

– Нам не сказывали.

– С хлебом?

– Ну, да...

– Куда ведете?

– А кто ж его знает, – куда прикажут...

– Не ври, не ври, не ври! – Монах торопливо стал загибать правый рукав. – Денисова эта баржа... В Повенец плывете, в раскольничьи скиты хлеб везете, страдники...

И сразу, кинувшись, взял Илюшку Дехтярева за грудь, тряхнул заробевшего мужика и, обернувшись к посадку, закричал что есть силы:

– Караул!

Андрюшка Голиков сорвался с лодки, побежал вдоль волн к рыбацким землянкам.

– Караул! – заорал второй раз монах и пресекся: Умойся Грязью схватил его за волосы, оторвал от Илюшки, сбил с ног и стал вертеться над землей, ища камень. Монах бойко вскочил, налетел на него сбоку, но Федька весь сделался костяной от злобы, не шелохнулся, опять сгреб его, нагнув, ударил по шее. Монах крикнул. Из переулка к берегу бежали четверо с кольями.

Андрюшка Голиков, ужасаясь, выглядывал из-за угла рыбацкой землянки. Умойся Грязью дрался с пятерыми: вырвал у одного кол, наскакивал, дико вскрикивал, – такой злобы в человеке Андрюшка не видывал сроду... «Бес, чистый бес!...» Потом ввязался и Дехтярев: изловчась, смазал монаха в ухо, – тот в третий раз покатился. Помощники его стали подаваться назад. Кое-где на посадке из ворот вышли люди, подкрякивали: так, так, так!..

Илюшка с Федькой одолели, погнали было этих, но скоро вернулись на берег и, отсморкав кровь, пошли прямо к избенке, где дрожал Голиков.

– А и тебя бы следовало поучить, по совести, – сказал ему Умойся Грязью. – Дурак ты, а еще в рай хочешь...

В дверцу из мазанки (стоявшей задом к морю) высунулась нечесаная голова, дымчатая борода от самых глаз. Поморгав, вылез кряжистый босой человек, темный от копоти. Поглядел в сторону посада, – там уж не было ни души.

– Заходите, – сказал и опять улез в низенькую мазанку. Свет в ней пробивался в щель над дверью. Пахло прогорклой рыбой, половина помещения завалена снастями. Илья, Андрей и Федор, войдя, перекрестились двуперстно. Рыбак сказал им:

– Садитесь. А вы знаете, кого били сейчас?

– Меня всю жисть били, ни разу не спросили, – проговорил Умойся Грязью.

– Били вы ключаря Крестовоздвиженского монастыря, Феодосия. Разбойник, ах, разбойник, сатана! Бешенай!

Рыбак, видя, что это – люди свои, сел между ними на лавку, взял себя под мышками, покачиваясь, рассказывал:

– Здесь места самые рыбные, жить бы и жить, – уйду... Нельзя стало, этот сатана всем озером завладел... Монахам мы давали: зимой – четвертую часть снятка, и от каждой путины даем. Ему мало. Парус увидит и бежит на берег и оставит тебе рыбы, только чтобы пожрать. Не дай, – он сейчас: «Как хрестишься?» Согрешишь, конечно, обмахнешься щепотью. «Не так, лукавишь! Иди за мной!» А идти за ним – известно: в монастырский подвал, садиться на цепь. А сколько он у нас снастей порвал, челнов перепортил... К воеводе ходили жаловаться.

Воевода сам глядит, чего бы стянуть. Ведь у них в монастыре – жалованная митрополичья грамота: искоренять старинноверующих. Вам, братцы, скорей надо уходить отсюда.

– Ох, нет, мы с Денисовым, – проговорил Голиков, испуганно взглядывая на Илюшку и Федьку...

– Денисов откупится, – сильный человек... В огне не сгорит... Он с севера плывет, – с мехами, да костью, да медью, – откупается. Назад плывет, – откупается. Не один уже раз... У него, брат, везде свои люди...

Умойся Грязью – с усмешкой:

– Краснобай! Всю дорогу сухарями кормил, а уж наговорит, будто курятину едим.

Голиков весь изморщился, покуда просто говорили про выговского старца. Вспоминал, как Денисов, бывало, скупно-ласково погладит его по голове: «Что, мальчик, душа-то жива? Ну, и хорошо...» Вспоминал, какие чудные беседы он вел у костра, как садился в лодку и чернел острой скуфеечкой на закатной воде. На древних иконах писали таких святителей на лодочке. За него Андрюшка сейчас бы в соломе живым сгорел...

Сидели на лавке, думали – как быть? Куда бежать? Идти ли все-таки на север? Рыбак не советовал: на север до Выга идти пешком, без челна, – месяца два в лесах, – пропадешь...

– Податься бы вам в легкие края, на Дон, что ли...

– Был я на Дону, – прохрипел Умойся Грязью, – там – не прежняя воля. Казаки-станичники гультаев выдают. Меня два раза в железо ковали, возили в Воронеж на царские работы...

Ничего толком не придумали, сказали Андрюшке, идти – искать Денисова, – как он скажет?

Андрюшка набрался страху: только дошел до ветхих городских ворот, – крики: «Стой, стой!» Бежали оборванные, босые люди, – кое-кто перемахнул через забор. За ними гнались, держась за шляпы, два солдата в зеленых кафтанах. Тяжело дыша, скрылись в кривом переулке. Почтенный старичок у калитки сказал: «Второй день ловят». Голиков спросил его – не знает ли он купчины Андрея Денисова, не видал ли его? Старичок, – подумав:

– Иди на площадь, ищи Денисова на воеводином дворе.

На небольшой площади, заваленной буграми навоза, гостинные ряды были заколочены, столбики покосились, крыши провисли. Торговали две-три лавки – кренделями, рукавицами. Без ограды стоял древний собор с треснувшими стенами. У низеньких крытых сеней его на травке спали обмотанные тряпьем нищенки, юродивый, положив около себя три кочерги, зевал до слез, тряс башкой. Здесь, видимо, жили не бойко.

Посредине площади, где врыт был столб для казни, переминался сторож с копьём. Голиков опасновато пошел к нему. Из дощатой лавки навстречу высунулся купец, чистая лиса, и – сладкогласно:

– Ах, что за крендельки с маком!

Смиренно поклонясь сторожу, Голиков спросил, – где воеводин двор? Коротконогий сторож, в заплатанном стрелецком кафтане до пят, хмуро отвернулся. На столбе приколочена была жестяная грамота с орлом.

– Проходи прочь! – закричал сторож.

Андрюшка, отойдя, озираясь – гнилые заборы, покосившиеся избы... Тучи цепляются за церковные кресты. К нему приближался низко подпоясанный человек в валенках, – толстые облупленные губы его вытянулись жаждающе. Сторож у столба и купчишки из лавок глядели, что сейчас будет.

– Откуда пришел? Ты чей? Меж двор шатаешься? – Человек вплоть задышал чесночным перегаром. Голиков только и мог от страха – заикнулся, затрепетал языком. Человек взял его за ворот.

– Это – денисовский, – крикнули из лавки.

– Он их девять человек везет сжигаться, – тонкогласно сказали из другой лавки.

Человек тряхнул Андрюшку:

– На столбе царскую грамоту читал? Иди за мной, сукин сын...

И поволок его (хотя Андрюшка и не упирался) в конец площади, на воеводин двор.

Андрей Денисов, нарядный, расчесанный, держа на колене кунью шапку, сидел в горнице у воеводы – захудавшего стольника Максима Лупандина. Воевода, пригорюнясь, поглядывал, какие у купчины добрые козловые сапожки и кафтан мышинный, на алом шелку, гамбургского, а то, пожалуй, и аглицкого сукна. Сам-то воевода сидел в потертой беличьей шубейке, – не дорожен, лыс, угреват. При покойном государе Федоре Алексеевиче был в стольниках, при Петре Алексеевиче едва добился кормления в Белозерск.

Разговаривали вокруг да около: и Денисов не нажимал, и воевода не нажимал. «Экий у него кафтан, – думал воевода, – а вдруг отдаст?» Он тайно послал холопа в Крестовоздвиженский монастырь за отцом Феодосием, но и Денисов тоже кое-что придерживал до времени.

– Погода, погода, Бог с ней, – говорил Денисов. – Переменится ветер – пойдем на парусах через озеро... Не переменится – как-нибудь уже берегом пробьемся... Лихое дело нам до Ковжи добраться, там людей найдем до самого Повенца...

– Конечно, твое дело понятное, – уклончиво отвечал воевода, поглядывая на кафтан...

– Максим Максимыч, сделай милость, – не задерживай баржи и людишек моих.

– Кабы не указ, – о чем и толковать. – Воевода вытаскивал из кармана царскую грамоту, свернутую трубкой, подслеповато ползал по ней бородкой. – «...По указу великого князя и царя всеа... Сказано... Тунеядцев и дармоедов, что кормятся при монастырях, и всяких монастырских служек брать в солдаты...»

– Монастыри нас не касаются, у нас дело торговое...

– Обожди... «...и брать в солдаты же конюхов и боярских холопей, и всех шатающихся меж двор, нищих и беглых...» Что мне с тобой делать, Андрей? – не придумаю... Ну, подьячий бы какой-нибудь привез эту грамоту... Привез ее Преображенского полку поручик Алексей Бровкин с солдатами. Знаешь, как ныне с поручиками-то разговаривать?

Денисов, отогнув полу кафтана, брякнул серебром в кармане. Воевода испугался, что сейчас продешевит, стал оглядываться на дверь, – не войдет ли Феодосий. Вошел толстогубый ярыжка, толкая перед собой Андрюшку Голикова. Сорвал шапку, махнул в пояс поклон:

– Максим Максимыч, еще одного поймал...

– На колени! – гневно крикнул воевода. (Ярыжка поднажал, Голиков стукнулся о пол костлявыми коленками.) – Чей сын? Чей холоп? Откуда бежал? (Ярыжке.) Ванька, подай чернила, перо...

Денисов сказал тихо:

– Оставь его, Максим Максимыч, это – мой приказчик...

У воеводы засветились глаза, отколупал крышечку на медной чернильнице, кряхтя, ловил пером оттуда муху. «Ой, нейдет ключарь», – думал, и как раз заскрипели половицы в сенях. Ванька отворил дверь, – гневно вошел давешний монах с цыганской бородой, один глаз у него заплыл. Увидев Денисова, ударил посохом.

– Били меня его люди и разбивали, едва до смерти не убили, – заговорил зычно. – А ты, Максим, посадил его возле себя! Кого, кого, спрашиваю? Раскольника проклятого! Выдай мне его, выдай, воевода, трижды тебе говорю!

Положив руки на высокий посох, сверлил диким глазом то Денисова, то Максима Максимовича. Голиков без памяти отполз в угол. Ванька жаждающе ждал знака – кинуться, крутить локти. «Мой кафтан», – подумал воевода.

– Кто ты таков, пришел лаяться, монах, не знаю, да и знать не хочу, – проговорил Денисов. Встал. (У Феодосия посинели руки на посохе.) Расстегнул рубаху и с медного осьмиконечного

креста снял мешочек. – Хотел я честно с тобой, Максим Максимыч, – поклониться от моих скудных прибытков... Значит, разговора у нас не выходит...

Из мешочка вынул сложенную грамоту, бережно развернул:

– Сия грамота жалована Бурмистерской палатой нам, Андрею и Семену Денисовым, в том, чтоб торговать нам, где мы ни захотим, и убытку, и разорения нам, Андрею и Семену, никто б чинить не смел... Своеручно подписана грамота президентом Митрофаном Шориным...

– Что мне Митрофан, – срывая руку с посоха, закричал Феодосий, – против твоего Митрофана вот кукиш!

– Ох! – слабо охнул воевода.

У Денисова румянец взошел на щеки:

– Против президента, из лучших московского купечества, ты – кукиш? Это – воровство!

– Подавись, подавись им, проклятый, – налезая бородой, бешено повторял Феодосий и схватил Денисова за медный раскольничий крест. – А за это, беспоповец, сожгу тебя... Против твоей слабенькой грамоты у меня сильненькая...

– Ох, да помирись вы, – стонал воевода, – Ондрей, дай монаху рублей двадцать, отвяжется...

Но монах и Денисов, не слушая, раздували ноздри. Ярыжка начал подходить бочком. Тогда Денисов, дернув у ключаря крест, кинулся к окошечку, поднял раму и крикнул на двор:

– Господин поручик, слово государево за мной!..

В комнате сразу замолчали, перестали сопеть. В сенях зазвенели шпоры. Вошел Алеша Бровкин, – в ботфортах, в белом шарфе, при шпаге. Юношеские щеки – румяны, на брови надвинута треугольная шапочка.

– О чем лай?

– Господин поручик, против президентской грамоты ключарь Феодосий и воевода лают непотребно и кукиш показывают, и грудь мне рвали, и грозились сжечь...

У Алешки глаза стали круглеть, строго выкатываться – совсем как у Петра Алексеевича. Оглянул монаха, воеводу (упершегося руками в лавку, чтобы встать). Постучал тростью и – вскочившему солдату:

– Под стражу обоих...

2

Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс: «Удивительно! Откуда в молодой девушке такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову. Анхен вся – в покойного Монса».

Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр.

«Мое сердечко, – не раз говорила ему Анхен с нежным упреком, – вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды... Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель, там – я узнала – можно по доброй цене купить коров, дающих два ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую, хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки...»

Мыза была поставлена в березовой роще на дареной земле, идущей клином от ворот заднего двора, мимо ручья Кукуя, до Язуы. Здесь стояли: небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, рига, амбары. На косогоре у реки паслись пегие тучные коровы, – каждую звали поименно в честь греческих богинь, – тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли иноземные овощи и картофель.

Чуть свет Анхен, в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку. Была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Настало время рубить капусту. Таких кочнов не видали на огороде и у самого пастора Штрумпфа. Немцы приходили удивляться: такой кочан или такую репу можно было послать в Гамбург, в кунсткамеру. Шутили: «Наверно, Анхен знает какую-то молитву, что так пышно на этой недавней пустоши произрастают плоды земли».

С песнями русские девки рубили капусту в новом липовом корыте. Анхен брала девок самых здоровых и веселых из дворни Меншикова или адмирала Головина (чьи новые дворы и палаты стояли неподалеку от Немецкой слободы). Стучали тяпки, от румяных девок пахло свежими кочерыжками, на траве, там, где падала длинная тень от сарая, еще лежал иней, снежные гуси важно шли из птичника на вырытое озерцо. Над острой крышей мызы поднимался дымок в осеннюю синеву. Через подметенный двор два опрятных мужика-пекаря несли корзину со свежеевыпеченными калачами.

Анхен была счастлива, – постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой: ни дня покою, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки, или – хочешь не хочешь – наряжайся, скачи на ассамблею – отбивать каблучки.

Пирь и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день – обжорство, пляс. Но всего более огорчало Анну Ивановну сумасбродство самого Питера: он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всякого добра, – болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор.

Анхен однажды осторожно попросила Петра: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня всякий раз о приезде». Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему.

Солнце поднялось над осыпавшейся желтизной берез. Девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни, – их, за две недели перед тем как резать, откармливали орехами; Анхен сама каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе; посмотрела, как моют мохноногим курам ноги, – это нужно было делать каждое утро; в овчарнике брала на руки ягнят, целовала их в кудрявые лобики. Потом с неохотой вернулась домой. Так и есть, – на улице стояла карета. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:

– Господин саксонский посланник Кенигсек.

Ну, это было ничего... Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке – переодеться.

Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке – табакерка, правая – свободна для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сем: о забавных приключениях, о женщинах, о политике, о своем повелителе – курфюрсте саксонском и польском короле Августе. Его парик, надушенный мускусом* едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках, беспечно-наглые, водянистые глаза ласкали Анхен. Она сидела напротив (у камина, где разгорались дрова), прямая, – в жестком корсаже, – округло уронив руки ладонями вверх. Потупясь, слушала, уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.

Господин посланник рассказывал:

– ...Ему нельзя не поклоняться. Он красив, любезен, смел... Король Август – божество, принявшее человеческий облик... Он неутомим в своих страстях и развлечениях. Ему надоедает Варшава, – он мчится в Краков, по пути охотится на диких свиней, роскошно пирует в замках у магнатов или ночью на сеновале растерянной простолюдинке дарит поцелуй Феба... Он приказывает выписать себе подорожную на имя кавалера Винтера и под видом искателя приключений пересекает Европу и появляется в Париже. Этой шпагой я не раз отражал удары, направленные в его грудь, в ночных драках на перекрестках парижских улиц. Мы скачем в Версаль на ночной праздник, король Август одет странствующим офицером. О, Версаль! О, вы должны увидеть этот земной рай, фрейлен Монс... Огромные окна освещены миллионом свечей, по фасаду переливаются огни плошек. На террасе вдоль боскетов* гуляют дамы и кавалеры. На деревьях, как райские плоды, – китайские фонарики. За озером взлетают ракеты, их искры опадают в воду, где на барках музыка арф и виол. Плещут фонтаны, летают ночные бабочки. Мраморные статуи сквозь листву кажутся ожившими божествами. Христианнейший король Людовик – в кресле. Тень от парика скрывает его тучное лицо, но все же мне удалось увидеть надменный профиль – с выдвинутой нижней губой и всему свету известной полоской усиков. О его кресло облокотилась дама в черном домино с опущенным на глаза капюшоном. Это была мадам де Ментенон. По правую руку сидел на стуле Филипп Анжуйский – будущий король Испании, его внук, подавленный меланхолией... Все вокруг, тысячи лиц в полумасках, дворец, весь парк, казалось, были озарены золотом славы...

Пальчики Анхен трепетали, округлости груди поднялись из тесноты корсажа:

– Ах, нельзя поверить, что это – не сон... Но кто эта госпожа Ментенон, которая стояла за стулом короля?!

– Его фаворитка... Женщина, перед которой трепещут министры и посланники... Мой повелитель, король Август, прошел несколько раз мимо мадам Ментенон и был замечен ею...

– Господин посланник, почему король Людовик не женится на мадам Ментенон?

Кенигсек несколько изумился, на минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхен ниже опустила голову, в уголке губ легла складочка.

– О фрейлен Монс... Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева – это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке, потому что жизнь – это политика, а политика – это золото и слава. Король задергивает ночью полог постели не у королевы – у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке... (У Анхен слабый румянец пополз к щекам. Посланник ближе придвинулся надушенным париком.) На горячей подушке поверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории.

– Господин посланник, – Анхен подняла влажносиние глаза, – дороже всего знать, что счастье – долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности... Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог... Я плыву на роскошной, но на утлой ладье...

Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка...

– Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. – Кенигсек взял ее за локоть, нежно сжал. – Вам некому верить тайн... Поверяйте их мне... С восторгом отдаю вам себя... Весь мой опыт... На вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме спрашивается о «нимфе кукуйского ручья»...

– В каком смысле вы себя предлагаете, не понимаю вас.

Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам... Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.

– Не знаю, должна ли я даже слушать вас...

Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. На подоконнике, между геранями, в золоченой клетке нахохлился на помрачневший день ученый перепел – подарок Питера. Анхен силилась собраться с мыслями, но потому ли, что Кенигсек, не шевелясь, глядел ей в спину, – тревожно стучало сердце... «Фу, глупость! С чего бы вдруг?» Было страшно обернуться. И хорошо, что не обернулась: у Кенигсека блестели глаза, будто он только сейчас разглядел эту девушку... Над пышными юбками – тонкий стан, молочной нежности плечи, пепельные, высоко поднятые волосы, затылок для поцелуев...

Все же он не терял рассудка: «Чуть побольше остроты ума и честолюбия у этой нимфы, – с ней можно делать историю».

Анхен вдруг отступила от окна, бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кенигсеке:

– Царь!..

Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка, жмурясь от пыли, вылез Петр. Вслед подъехала крытая кожаная колымага. Он что-то крикнул туда и пошел к дому. Из колымаги вылезли двое, – прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали.

Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, – рослого, со злым и надменным лицом, – взял за плечи, потрянул, похлопал:

– Здесь вы у меня дома, герр Иоганн Паткуль... Будем обедать...

Петр был трезв и очень весел. Вытащил из-за красного обшлага парик:

– Возьми гребень, расчеши, Аннушка. За столом буду в волосах, как ты велишь... Нарочно за ним солдата посылал. – И – другому гостю – генералу Карловичу (с лилово-багровыми, налитыми щеками): – Какой ни надень парик, – за королем Августом не угнаться: зело пышен и превеликолепен... А мы – в кузнице да на конюшне...

Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кенигсеку:

– Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник...

– Ваше величество, – Кенигсек повел шляпой, пятясь и сядясь на колено, – смертных не судят, цветы и голубей приносящих на алтарь Венус...

Покуда Петр мылся и чистился, Анна Ивановна делала политес: взяла с подноса по рюмке тминной водки, поднесла гостям, спросила каждого о здоровье и – «давно ли изволили прибыть в Москву и не терпите ли какой нужды?». Вспоминая, что ей говорил Кенигсек, выставила тупой кончик туфельки, раскинула юбки по сторонам стула:

– Приезжим из Европы у нас первое время скучно бывает. Но вот скоро, Бог даст, с турками замирился – велим всем носить венгерское и немецкое платье, улицы будем мостить камнем, разбойников из Москвы выведем.

Иоганн Паткуль отвечал ей ледяным голосом, не разжимая тонких губ. В Москву он приехал с неделю, из Риги. Остановился не на посольском дворе, а в доме вице-адмирала Корнелия Крейса, вместе с генерал-майором Карловичем, прибывшим несколько ранее из Варшавы от короля Августа. Нужды они покуда никакой не терпят. Москва действительно не мощена и пыльна, и народ одет худо.

– Я успел заметить, – Паткуль с усмешкой взглянул на Карловича, слегка свистевшего горлом от полнокровия и тесноты военного кафтана, перепоясанного по тучному животу широким шарфом, – я заметил особенный способ, каким московская чернь наживает несколько копеек себе на водку. Когда что-нибудь купишь у него и требуешь сдачи, он намеренно обочи-

тывает в свою пользу и просит проверить. Пересчитав, говоришь ему, что счет не верен. Он божится, будто именно я обсчитался, снова начинает считать сдачу и крестится на церковные главы, что счет верен. Я второй и третий раз пересчитываю, и он спорит и опять считает сам. И так он продельывает раз десять сряду, покуда тебе не надоест и ты не отойдешь, махнув рукой на пропажу.

– Нужно приказывать своему холопу брать такого человека и тащить в земскую избу, там его хорошенько отколотят батогами, – с твердостью сказала Анна Ивановна.

Паткуль презрительно пожал плечом.

Вошел Петр, свежий, в расчесанном паричке. Анхен торопливо поднесла ему тминной... Выпив, он потянулся губами, чмокнул ее в щеку. Мажордом отворил дверь, стукнул булавой. Пошли в столовую, где на сводчатом потолке резвились меж облачков купидоны, штукатуренные стены прикрыты фламандскими шпалерами, над глазуревым камином – картина славного Снайдерса, – изобилие битой птицы и плодов земли*.

Петр сел спиной к пылающим дровам, Паткуль – по правую его руку, Карлович и Кенигсек – по левую, озабоченная Анхен – напротив. На пестрой полотняной скатерти в хрустальных кубках было уже налито венгерское, грудой посреди стола лежали кровавые, свиные и ливерные колбасы. От холодных блюд пахло пряностями. За окошком несло колючую пыль, мотались голые ветви. Здесь было тепло. Убранство стола, довольные лица гостей, огоньки камина уютно отражались в зеркалах стенных подсвечников.

Петр поднял чарку за любезного друга сердца – польского короля Августа. Гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать.

– Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное, – сказал Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний: молодых гусят с грецкими орехами.

– Ладно. – Петр кивнул. Раздвинув локтями оловянные блюда, морщась улыбкой, поглядывал на щеки подвыпившей Анхен. Весь обед он шутил, подсмеивался над хозяйской скупостью Анны Ивановны, подмигивал ей на Кенигсека: «Не из его ли голубей соус на столе, коих на ваш Венеркин алтарь приносит?...» Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Иоганн Паткуль и Карлович спешно прибыли в Москву.

До нынешнего дня видели они его всего раз – у вице-адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда, к фаворитке, на тайный обед. Паткуль почтительно-холодным взглядом наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла Двенадцатого давно сидело в Москве, переговариваясь со Львом Кирилловичем и боярами о вечном со Швецией мире, – шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот.

– Господин Карлович и господин посланник подтвердят, что мои слова – в полном согласии с сердечным желанием его величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все лифляндское рыцарство и все именитое купечество Риги молят, государь, преклонить к нам слух.

Большой лоб Паткуля собрался морщинами. Говорил медленно, порою сдерживая гнев:

– Несчастливая Лифляндия ищет покоя и мира. Некогда мы были частью Ржечи Посполитой, мы сохраняли наши вольности, и город Рига был славен на всем Балтийском море. Сердца человеческие черны завистью. Ржечь Посполита протянула руку к нашим богатствам, иезуиты воздвигли гонение на нашу веру, на наш язык и обычаи... Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифляндское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва.*

– Неосторожно было, – сказал Петр, – швед – всему миру хищник известный. – Он потащил из кармана коротенькую трубочку. Кенигсек, торопливо поднявшись, стал высекать огни-

вом искру. Задымившийся кусочек трута поднес Петру на тарелке. Иоганн Паткуль вежливо ждал, когда царь закурит.

– Государь, вы изволили слышать о законе, сказанном в шведском сенате и утвержденном покойным шведским королем Карлом Одиннадцатым: о редукации*. Тому минуло двадцать лет. Шведские сенаторы, – бюргеры, злые торговцы, – не знаю уж чем опоили короля, внушив ему неслыханное злодейство: отобрать у дворянства все земли, жалованные прежними королями. Эрлы* и бароны принуждены были покинуть замки, и смерд стал пахать земли высокородных. Нам, ливонскому рыцарству, дано было клятвенное обещание о нераспространении редукации. Но через восемь лет король все же повелел редукационной комиссии брать в казну наши земли, жалованные прежними государями. Право на исконные земли рыцарей, гроссмейстеров ордена и епископов нужно было доказывать древними грамотами, а буде грамот не окажется, в казну отходили и эти земли... Со времен Иоанна Грозного и Стефана Батория Ливония опустошается войной, грамоты наши утеряны, мы не можем доказать исконных прав... Я написал челобитную о злодействах редукационной комиссии и от всего ливонского рыцарства подал ее шведскому королю... Но добился лишь того, что сенат приговорил меня к отсечению правой руки, написавшей сию челобитную, и к отсечению головы (Паткуль повысил голос, уши его поджались, тонкие губы побелели)... к отсечению головы, не пожелавшей униженно склониться перед злодеянием... Государь, ливонское рыцарство разорено. Но не легче и нашему купечеству... (С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно.) Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовят разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Кенигсберг, весь хлеб из Польши тянется к Бранденбургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел, город на кладбище похож. А в Ревеле и того хуже сделано шведами. Остается – либо нам разорение вконец, либо война. Теперь или никогда, государь. Все рыцарство сядет на коней. Король Август клятвенно берет нас под державную руку Польши...

Паткуль твердо взглянул на генерала Карловича, перевел желтоватые глаза на Кенигсека. Оба важно наклонили парики. Петр, – кусая чубук:

– Не попасть бы вам опять из огня в полымя... Рука у короля Августа легка, у польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете – Ригу и Ревель...

– Польша теперь не та, что при Стефане Батории. Польша не ищет нашей гибели, – сказал Паткуль. – У нас один враг на суше и море. На вольности, на веру Ржечь Посполита не покусится...

– Дай Бог, дай Бог... Нынче сейм так приговорит, завтра по-другому, – что панам в голову взбредет... Был бы король Август единовластен, – тогда надежно.

А то – паны!.. (Петр благодушно рассуждал, попыхивая дымком. У Паткуля кости проступили на лице под кожей, – так и въелся зрачками в царя.) Да захотят ли еще паны воевать?

– Государь, саксонскому войску короля Августа, коим он один повелевает, приказано уже стать на зимние квартиры в Шавельском и Бирзенском поветах близ ливонской границы...

– Сколь велико войско?

– Двенадцать тысяч отборных германцев.

– Маловато будто бы для такого дела.

– Да столько же ливонских рыцарей сойдутся под Ригу. Шведский гарнизон невелик. Ригу возьмем с налету. А там – война начнется – паны сами возьмутся за сабли. Другой союзник сей коалиции – датский король Христиан. Государь, вам известно, сколь он пылает ненавистью против герцога⁹ и шведов. Датский флот нам будет обороною с моря...

⁹ Герцог Голштейн-Готторбский, Фридрих IV, женатый на сестре Карла XII. Герцогство Голштинское граничит с Данией. (Примеч. А. Н. Толстого.)

Паткуль добрался до трудного места. Царь, свесив руку, постукивал по столу ногтями, на круглом лице его не выражалось ни желания, ни противности. Начинались сумерки, за окном усиливался ветер, скрипя ставнями. Анхен хотела было зажечь свечи. Петр – сквозь зубы: «Не надо».

– Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море, обратно взять у шведов исконные вотчины – Ингрию* и Карелию. Поразив шведов и утвердись при море, достигнуть всемирной славы, завести торговлю с Голландией, Англией, Испанией и Португалией, со всеми северными, западными и южными странами и сделать то, чего ни один монарх Европы не в состоянии был сделать, – открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом. Войти в связь со всеми монархами христианскими, иметь слово в делах Европы... Заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой... И всем этим скорее, нежели покорением турок и татар, прославиться в свете. Сейчас или никогда...

Паткуль поднял руку, будто призывая Бога в свидетели. Кенигсек шепотом повторил: «Сейчас или никогда». Генерал Карлович значительно засопел...

– Что ж так, сейчас! Крыша, что ли, горит? Дело большое – воевать со шведами, – грызя чубук, проговорил Петр. (У собеседников насторожившиеся глаза поблескивали каминными огоньками.) – Двенадцать тысяч саксонцев – сила добрая. Датский флот... Гм... Рыцари да паны? Это еще бабушка в решето видела... Шведы, шведы... Первое в Европе войско... Трудно вам что-нибудь присоветовать...

Он опять застучал ногтями. Паткуль – со сдержанной яростью:

– Сегодня шведов голыми руками можно взять. Карл Двенадцатый – мал и глуп... Сие – король! Разряженный, как девка, – одно знает – пиры да по лесам за зайцами скакать! Из казны все деньги вытянул на маш-керады. Лев – без зубов... Недаром шведское посольство с весны сидит в Москве, просит вечного мира... Смешно сказать, – послы. Всей Европе известно – ни на одном шелковых чулков нет. Прожились, одним горохом питаются. Да вот, государь, – генерал Карлович в прошлом году был в Стокгольме, нагляделся на короля... Господин генерал, извольте рассказать...

Карлович выпростал несколько шею из воротника:

– Был, так точно... Город невелик, но неприступен с воды и суши, – истинное логовище льва. Я сошел с корабля, будучи под вымышленным именем и в платье партикулярном*. Иду на рынок, дивлюсь: как будто в городе неприятель, – в лавках и домах закрывают ставни, женщины хватают детей. Спрашиваю прохожего. Машет рукой, бежит прочь: «Король!»

Я видывал всякое в походах и во многих городах, где стаивали на квартирах, но не такое, чтобы народ от своего короля, как от чумы, бросался без памяти в двери... Гляжу – с лесистой горы скачут, – не ошибиться, – не менее сотни охотников, за спиной – рога, на сворах – собаки... Гонят через каменный мост в город. А уж площадь пуста. Впереди на вороном жеребце – юноша, лет семнадцати, в солдатских ботфортах, в одной рубаше. Скачет, бросив поводья: король Карл Двенадцатый... Львенок... Охотники за ним, – свист, хохот. Как бесы, промчались по рынку. Хорошо, что обошлось, а бывает, что и потопчут.

Будучи любознателен, упросил я одного знакомого сводить меня во дворец под видом будто бы продавца аравийских ароматов. Час был ранний, но во дворце пировали. Король забавлялся. В столовой стены на человеческий рост забрызганы кровью, на полу кровь – ручьями. Смерд, валяются пьяные. Король и те, кто еще стоял на ногах, рубили головы баранам и телятам – с одного удара саблей на спор о десяти шведских кронах. Я не мог не одобрить королевской рубки: конюха подпихивали к нему теленка, король рысцой пробегал и, описывая саблей круг, смахивал телячью голову, ловко увертывался, чтобы кровь не хлестнула на ботфорты.

Учитиво я поклонился, король бросил саблю на стол и поднес мне для поцелуя запачканную руку. Узнав, что я торговец: «Вот, кстати, – сказал, – не можешь ли ссудить мне пятьсот

голландских гульденов?» Меня усадили за стол и заставили неумеренно пить. Один из придворных шепнул: «Не перечьте королю, он пьян третьи сутки. Вчера одного почтенного негоцианта* здесь раздели догола, вымазали медом и обвалили в перьях». Чтобы избежать бесчестия, я обещал королю пятьсот гульденов, которых у меня не было, и до ночи провел за столом, притворяясь пьяным. Придворные просыпались, ели, пили, орали песни, опрокидывали блюда на головы лакеев и снова валились с ног.

Ночью король с толпой приспешников вышел из дворца – бить стекла, пугать спящих граждан. Я воспользовался темнотой и скрылся. Весь город стонет от королевских безумств. При мне в трех церквях с амвона проповедники говорили народу: «Горе стране, где король юн». Горожане посылают лучших людей во дворец – просить короля бросить распутство, заняться делом. Челобитчиков выбивают вон. Эрлы и бароны, разоренные покойным королем, ненавидят правящую династию. В сенате еще держатся за короля, но уже с деньгами прижимают. А ему хоть бы что, – безумец!

Не так давно, придя в сенат, потребовал двести тысяч крон безответно. Сенат единогласно отказал. Король в бешенстве сломал трость: «Так будет со всеми, кто против меня...» А на другой день ворвался с охотниками в сенатскую залу, – из мешка выпустили полдюжины зайцев и порскнули гончих собак... (Петр вдруг, откинув голову, весело засмеялся.) Сенаторы на подоконники полезли, на иных собаки ободрали кафтаны. Весь он тут, – король-шалун... Куда как страшен львенок!

Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком. Петр, облокотись о стол, продолжал смеяться. Анна Ивановна неожиданно для всех проговорила с презрением:

– Нечего сказать, – король! Такого Карлу с одним нашим Преображенским полком можно добыть...

К ней все повернули головы. Кенигсек приложил ко рту платочек. Петр – негромко:

– Вот уж это, Аннушка, не твоего ума дело... Скажи-ка лучше вздуть свечи.

Зажгли свечи в стенных подсвечниках перед зеркалами. Налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Паткуля. Анхен принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яства на столе, и светят свечи, и улыбаются голубенькие глазки, – пусть шумит ветер за окошком... Петр, усмехаясь, в такт покачивал головой, подтопывал башмаком. В этот вечер он ни слова более не сказал о политике.

3

Каждое воскресенье у Ивана Артемьича Бровкина в новом кирпичном доме на Ильинке обедали дочь, Александра, с мужем. Иван Артемьич жил вдовцом. Старший сын, Алеша, был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Недавним указом таких полков сказано набрать тридцать, – три дивизии. Для снабжения учредить новый приказ – Провиантское ведомство – под началом генерал-провианта. Само собой, генерал-провиант ни овса, ни сена, ни сухарей и прочего довольствия из одних ведомственных бумаг добыть не мог. Главным провиантором опять остался Бровкин, хотя без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках.

Другие сыновья: Яков служил в Воронеже, во флоте, Гаврила учился в Голландии, на верфях. И только меньшенький, Артамон, – ему шел двадцать первый годок, – находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Знал он бойко немецкий язык и переводил отцу сочинения по коммерции и – для забавы – гишторию Пуффендорфа*. Иван Артемьич, слушая, вздыхал: «А мы-то живем, Господи, на краю света – свиньи свиньями».

Все дети – погодки – были умны, а этот – чистое золото. Видно, их мать, покойница, всю кровь свою по капельке отдала, всю душу разорвала, – хотела счастья детям. В зимние выюги, бывало, в дымной избе жужжит веретеном, глядит на светец – горящую лучину – страшными, как пропасть, глазами. Маленькие посапывают на печи, шуршат в щелях тараканы, да воеет над соломенной крышей выюга о бесчеловечной жизни... «Зачем же маленьким-то неповинно страдать?» Так и не дождалась счастья. Иван Артемьич тогда ее не жалел, досуга не было, а теперь, под старость, постоянно вспоминал жену. Умирая, заклала его: «Не бери детям мачехи». Так вот и не женился второй раз...

Дом у Бровкиных был заведен по иноземному образцу: кроме обычных трех палат, – спальня, крестовая и столовая, – была четвертая – гостиная, где гостей выдерживали до обеда, и не на лавках вдоль стен, чтобы зевать в рукав от скуки, а на голландских стульях посреди комнаты, кругом стола, покрытого рытым бархатом. Для утех здесь лежали забавные листы, месяцеслов с предсказаниями, музыкальный ящик, шахматы, трубки, табак. Вдоль стен – не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке, – стояли поставцы, или шкафы огромные, – при гостях дверцы у них открывали, чтобы видна была дорогая посуда.

Все это завела Александра. Она следила и за отцом: чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемьич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах. Но, по совести, жил скучновато. Надуваться спесью теперь было почти и не перед кем, – за руку здоровался с самим царем. Иной раз хотелось посидеть на Варварке, в кабаке, с гостинодворцами, послушать занозистые речи, самому почесать язык. Не пойдешь, – невместно. Скучать надо.

Иван Артемьич стоял у окошка. Вон – по улице старший приказчик Свешникова бежит, сукин сын, торопится. Умнейшая голова. Опоздал, милай, – лен-то мы еще утречком в том месте перехватили. Вон Ревякин в новых валенках, морду от окна отворотил, – непременно он из Судейского приказа идет... То-то, милай, с Бровкиным не судись...

Вечером – когда Саньки дома не было – Иван Артемьич снимал парик и кафтан гишпанского бархата, спускался в подклеть, на поварню, – ужинать с приказчиками, с мужиками. Хлебал щи, балагурил. Особенно любил, когда заезжали старинные односельчане, помнившие самого что ни на есть последнего на деревне – Ивашку Бровкина. Зайдет на поварню такой мужик и, увидя Ивана Артемьича, будто до смерти заробеет и не знает – в ноги ли поклониться, или как, и отбивается – не смеет сесть за стол. Конечно, разговорится мало-помалу, издали подводя к дельцу, – зачем заехал...

– Ах, Иван Артемьич, разве по голосу, а так не узнать тебя. А у нас на деревне только ведь и разговоров, – соберутся мужики на завалине и – пошли: ведь ты еще тогда, в прежние-то годы, – помним, – однолошадный, кругом в кабаке, а был орел...

– С трех рубликов, с трех рубликов жить начал. Так-то, Константин.

Мужик строго раскрывал глаза, вертел головой:

– Бог-то, значит, человека видит, метит. Да... (Потом – мягко, ласково.) Иван Артемьич, а ведь ты Константина Шутова помнишь, а не меня. Я – не Константин... Тот – напротив от тебя-то, а я – полее, с бочкою. Избенка плохонькая...

– Забыл, забыл.

– Никуда изба, – уже со слезой, горловым голосом говорил мужик, – того и гляди развалится. Намедни обседа повесть*, – гнилье же все, – тялушку, понимаешь, задавило... Что делать – не знаю.

Иван Артемьич понимал, что делать, но сразу не говорил: «Сходи завтра к приказчику, до Покрова за тобой подожду»; покуда не одолевала зевота, расспрашивал, кто как живет, да кто помер, да у кого внуки... Балагурил: «Ждите, на Красную Горку* приеду невесту себе сватать».

Мужик оставался на поварне ночевать, Иван Артемьич поднимался наверх, в жаркую опочивальню. Два холопа в ливреях, давно спавшие у порога на кошме, вскакивали, раздевали

его, – низенького и тучного. Положив сколько надо поклонов перед лампадой, почесав бока и живот, совал босые ноги в обрезки валенок, шел в холодный нужник. День кончен. Ложась на перину, Иван Артемьич каждый раз глубоко вздыхал: «День кончен». Осталось их не так много. А жалко, – в самый раз теперь жить да жить... Начиная думать о детях, о делах, – сон путал мысли.

Сегодня после обедни ожидалось большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков, без всяких поклонов, поцеловал тестя, невесело сел к столу. Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками, цвета фрезекразе*, оглядывая новое платье.

– Батюшка, у меня к вам разговор... Такой разговор серьезный. – Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала, – синеглазая, томная, ротик маленький. – Уж такой разговор... (И опять— и присела, и раскладными перьями обмахнулась.)

Волков сказал угрюмо:

– Шалая какая-то стала. Вбила в башку – Париж, Париж... Только ее там и ждут... Спим теперь врозь.

Иван Артемьич, сидя у голландской печи, посмеивался:

– Ай-ай-ай, учить надо.

– Поди ее – поучи: крик на весь дом. Чуть что – грозит: «Пожалуюсь Петру Алексеевичу». Не хочу ее брать в Европу, – свихнется.

Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик:

– Возьмешь. Петр Алексеевич мне сам велел ехать. А ты – невежа.

– Тесть, видел? Что это?..

– Ай-ай-ай...

– Батюшка, – сказала Санька, расправив платье, села около него. – Вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей. Девка так и горит. Они еще старшую не пропили, а до этой когда черед? Наташа – в самой поре, – красotka. Политес и талант придворный понимает не хуже меня...

– Что ж, у князя Романа дела, что ли, плохи? – спросил Иван Артемьич, почесывая мягкий нос. – То-то он все насчет полотняного завода заговаривает...

– Плохи, плохи. Княгиня Авдотья плакалась. А сам ходит тучей...

– Он с умной головы сунулся по военным подрядам, ему наши наломали бока...

– Род знаменит, батюшка, – Буйносовы!.. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за приданым не будем слишком гнаться, – отдадут. Я про меньшенького, Артамошу, говорю. (Иван Артемьич полез было в затылок, помешал парик.) Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила.

– Говорила? – Иван Артемьич сразу бросил трепать нос. – Ну, и он что?

– Милое дело, говорит. Мы с ним танцевали у Меншикова вчера. Усами по щеке меня щекочет и говорит: «Крутите свадьбу, да поскорее».

– Почему скорее? – Иван Артемьич поднялся и напряженно глядел на дочь. (Санька была выше его ростом.)

– Да война, что ли... Не спросила его, не до того было... Вчера все говорили – быть войне.

– С кем?

Санька только выпятила губу. Иван Артемьич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь, – в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами, красными каблуками.

У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости.

Глядя по гостю, Иван Артемьич или встречал его наверху, в дверях, выпятив живот в шелковом камзоле, или спускался на самое крыльцо. Князя Романа Борисовича, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы, – добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом поскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки, Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемьич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором, – девица весьма спелая.

Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Почтенные гости – президент Митрофан Шорин, Свешников, Момонов, – чтобы не наступать на девичьи шлепы, подались к печке и оттуда косились из-под бровей: «Все это, конечно, так: воля царская – тянуться за Европой, а добра большого не жди таскать по домам девок».

Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы – гравюры – славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочки, разглядывая голых богов и богинь... «А это кто? А это чего у него? А это она что? Ай!»

Санька объясняла с досадой:

– Это мужик с коровьими ногами – сатир... Вы, Ольга, напрасно косоротитесь: у него – лист фиговый, – так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой... Она, несчастная, плачет, – свет не мил. Сердечный друг сделал ей амур и уплыл – видите – парус... Называется – «Ариадна брошенная»*... Надо бы вам это все заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих-то богов. Это – не прошлый год... А уж с иноземцем и танцевать не ходите.

– Мы бы заучили, – книжки нет... От батюшки полушки не добьешься на дело, – сказала Антонида. Рябоватая Ольга от досады укусила кружево на рукаве. Санька вдруг обняла Наталью за плечи, шепнула что-то. Круглолицая, русоволосая Наталья залилась зарей...

Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша, – в коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета. Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти, – не повернуть...

Артамоша поясno поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Санька, поджав губы, коротко присев, – скороговоркой:

– Презанте* мово младшего брата Артамошу.

Девы лениво покивали высокими напудренными прическами. Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоскал белье. Санька представляла: «Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья». Каждая дева, поднявшись, присела, – перед каждой Артамон пополоскал рукой. Осторожно сел к столу. Зажал руки между коленями. На скулах загорелись пятна. С тоской поднял глаза на сестру. Санька угрожающе сдвинула брови.

– Как часто делаете plezier? – запинаясь, спросил он Наталью. Она невнятно прошептала. Ольга бойко ответила:

– Третьего дня танцевали у Нарышкиных, три раза платья меняли. Такой сюксе*, такая жара была. А вас отчего никогда не видно?

– Молод еще.

Санька сказала:

– Батюшка боится – забалуется. Вот женим, тогда пускай... Но танцевать он ужасно ловкий... Не глядите, что робеет... Ему по-французски заговорить, – не знаешь, куда глаза девать.

Почтенные гости с любопытством поглядывали на молодежь... «Ну, ну, детки пошли!» Митрофан Шорин спросил у Бровкина:

– Где сына-то обломал?

– Учителя ходят, нельзя, Митрофан Ильич: мы на виду... Родом не взяли, другим надо брать...

– Верно, верно... Приходится из щелей-то вылезать...

– И государь обижается: что же, говорит, деньги лопатой гребешь, так уж лезь из кожи-то...

– Само собой. Расходы эти оправдаются...

– Санька мне одна чего стоит. Но бабенка – на виду.

– Бабочка бойкая. Только, Иван Артемьич, ты посматривай, как бы...

– Конечно, ее можно плеткой наверх загнать – сидеть за пальцами, – помолчав, задумчиво ответил Иван Артемьич. – А толк велик ли? Что мужу-то спокойно? Э-ка! Понимаю, около греха вертится. Господи, верно... Грех-то у нее так и прыщет из глаз. Митрофан Ильич, не те времена... В Англии, – слышал? – Мальбрукова жена всей Европой верховодит...* Вот ты и стой с плеткой около юбки-то ее – дурак дураком...

Алексей Свешников, суровый лицом, густобровый купчина (в просторном венгерском кафтане со шнурами), в своих волосах, – чернокудрявых с проседью, – вертел за спиной пальцами, дожидаясь, когда президент и Бровкин бросят судачить о пустяках.

– Митрофан Ильич, – пробасил он, – опять ведь я о том же: надо поторопиться с нашим-то дельцем. Слух есть, как бы нам дорогу не перебежали.

Востроносое, чисто вымытое, хитрое лицо президента заулыбалось медовым ртом.

– Как наш благодетель, Иван Артемьич, рассудит, его спрашивай, Алексей Иванович...

Бровкин тоже быстро завертел за спиной пальцами, расставив короткие ноги, глядел снизу вверх на орлов – Шорина и Свешникова... Сразу сообразил: торопятся, ироды, – чего-то, значит, они разузнали особенное... (Вчера Бровкин весь день пробыл в хлебных амбарах, никого из высоких людей не видал.) Не отвечая, надуваясь важностью, прикидывал: чему бы этому быть? Вытащил из-за спины руки – почесать нос.

– Что ж, – сказал, – слух есть – сукнецо будет теперь в цене... Можно потолковать.

Свешников сразу выкатил цыганские глаза:

– Ты, значит, тоже, Иван Артемьич, знаешь про вчерашнее?

– Знаем кое-что... Наше дело – знать да помалкивать... (Иван Артемьич всей рукой взял себя за низ лица: «Что за дьявол! Про что они узнали?»)

Косясь на других гостей, попятился за изразцовую печь, Свешников и Шорин – за ним. Там, став тесно, заговорили вокруг да около, настороженно...

– Иван Артемьич, вся Москва ведь болтает.

– Поговаривают, да.

– С кем же? Неужто со шведом?

– Это дело государево...

– Ну, а все-таки... Скоро ли? (Свешников влез ногтями в проволочную бороду.) В самый бы раз теперь нам заводик поставить. Дорого государю не то, что дешевле гамбургского, а то, что ведь свое будет сукно. Границы могут закрыть, а тут – сукно свое... Дело золотое. Вокруг народа что закрутилось, – тот же Мартисен...

«Вот они про что пронюхали», – понял Иван Артемьич, усмехаясь в горсть.

На днях этот Мартисен, иноземец, был у Бровкина с переводчиком, Шафировым, предлагал поставить суконный завод: часть денег государя, часть – Бровкина, он же, Мартисен, войдет в треть всех доходов, за это обязуется выписать из Англии ткацкие станы, мастеров лучших и вести все дело. Свешников и Шорин со своей стороны давно предлагали Бровкину войти интересаном в кумпанию для устройства суконного завода. Но куда шли только разговоры. Вчера, видимо, что-то случилось, вернее всего – Мартисен сам дошел до государя.

– Неужто дело такое великое отдать иноземцам? – горя глазами, сказал Свешников.

Президент Шорин, зажмурясь, вздохнул:

– А уж мы, кажется, животы готовы положить, последнее отдадим...

– Завтра, завтра потолкуем, – Иван Артемьич устремился от печки к дверям. В гостиную вошел, никем не встреченный (в черном суконном платье, башмаки – в пыли), низенький, сизобритый, налитой человек с широкой переносицей, ястребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки, осклабился наискось.

– Почтеннейший Иоанн Артемьевич! – проговорил с напевом по всем буквам и пошел обнимать хозяина, облобызал троекратно, будто на Пасху, чудака. Затем, мотнув на стороны огненно-рыжим париком, шепнул: – С Мартисеном пока – никак. Сейчас Александр Данилович пожалует.

– Рад тебе, рад, Петр Павлович, милости просим...

Это был переводчик Посольского приказа, Шафиров, из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно, и уж на него смотрели как на сильенького.

– Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй в Кремль, во дворец... Государь наказал быть десятерым от Бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов...

– Договорились?

– Нет, Иоанн Артемьевич, государь целовать Евангелие не будет шведскому королю...

Бровкин, слушая, перевел дыхание, торопливо перекрестил пупок.

– Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти?

– Поживем – увидим, Иоанн Артемьевич, дела великие, дела великие... – и повернулся к буйносовским девам целовать у них пальцы – по-иноземному.

Князь Роман Борисович мрачно сидел на стуле у стены. Не честь была ездить по таким домам. Мутно поглядывал на дочерей: «Сороки, дуры. Кто их возьмет-то? Что за лютые, Господи, времена! Деньги, деньги! Будто их ветром из кармана выдувает... С утра трещит голова от мыслей: как обернуться, как жить дальше? С деревенек все выжато, и того не хватает. Почему? Хватало же прежде... Эх, прежде – сиди у окошечка, – хочешь – яблочко пожужешь, хочешь – так, слушай колокольный звон... Покой во веки веков... Вихрь налетел, люди, как муравьи из ошпаренного муравейника, полезли. Непонятно... И – деньги, деньги. Заводы какие-то, кумпании».

Сидевший рядом с князем Романом пожилой купец Евстрат Момонов, один из первых гостиной сотни, тихо точил речи:

– Нельзя, батюшка князь Роман Борисович, по-купецки так рассуждаем: тесно, невозможно стало, иноземцы нас, как хотят, забивают... Он у тебя товар не возьмет, он почту пошлет сначала, и через восемнадцать дней – письмо его в Гамбурге, и еще через восемнадцать дней – ответ: какая у них на бирже цена товару... А наши дурачки и год и два все за одну цену держатся, а такой цены давно и на свете нет. Иноземцы давно из нашей земли окно прорубили. А мы – в яме сидим. Нет, батюшка, войны не миновать... Хоть бы один городок, Нарву, скажем, старую царскую вотчину...

– От денег пухнете, а все вам, купцам, мало, – брезгливо сказал Роман Борисович. – Война! Э-ка! Война – дело государственное, не вам, худородным, в эту кашу лезть...

– Истинно, истинно, батюшка, – сейчас же поддакнул Момонов, – мы так болтаем, от ума скудости...

Роман Борисович скосил налитые жилками белки на него: ишь ты, одежда простая, лицо обыкновенное, а денег зарыто в подполье – горшки...

– Сыновей-то много?

– Шестеро, батюшка князь Роман Борисович.

– Холостые?

– Женатые, батюшка, женатые все.

За окнами загрохотала карета по бревенчатой мостовой. Иван Артемьич кинулся на лестницу, кое-кто из гостей – к окнам. Разговоры оборвались. Было слышно, как по чугунным ступеням звякают шпоры. Впереди хозяина вошел генерал-майор, губернатор псковский, Александр Меншиков, в кафтане с красными обшлагами, – будто по локоть рукава его были окунуты в кровь. С порога обвел гостей сине-холодным государственной строгости взором. Сняв шляпу, размашисто поклонился княжнам. Поднял левую красивую бровь, с ленивой усмешкой подошел к Саньке, поцеловал в лоб, потрепал руку за кончики пальцев, повернувшись, коротким кивком приветствовал гостей.

Раскрылись двери в столовую. Александр Данилович, похлопывая Бровкина, нагнулся к уху:

– Со Свешниковым и Шориным брось, не дело... Мартисену ничего не дадим. Самим, самим нужно браться... Поговори нынче с Шафировым.

4

В четырнадцати каретах, четвернями, шведское посольство выехало с Посольского двора. Вдоль всей Ильинки – через площадь до кремлевских стен – стояли на стойке под ружьем солдатские полки, одетые в треугольные шляпы, короткие кафтаны, белые чулки. Октябрьский ветер развеивал знамена, значки на пиках. Шведы серьезно поглядывали из окон карет на эти новые войска.

Проехав Спасские ворота, увидели оснеженные с бочков кучи ядер, глядящие в небо жерла медных мортир: у каждой – четыре саженного роста усатых пушкаря с банниками, дымящимися фитилями. Перед Красным крыльцом стоял на огненно-рыжем донском жеребце старый генерал Гордон. Красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и латам. Когда посольский поезд остановился, генерал поднял руку, – ударили пушки, дымом заволокло подслеповатые окна приказов, церковные главы.

На крыльце послы, по требованию стольников, отдали шпаги. Сто семеновских солдат, держа королевские дары и поминки*, – серебряные тазы, кубки, кувшины, – стали на крыльце и в сенях, подняли в пышной деревянной раме портрет – во весь рост – юного шведского короля Карла Двенадцатого. Послы степенным шагом вошли в столовую палату, в дверях сняли шляпы.

По четырем стенам на лавках сидели бояре, дворяне московские, гости и торговые люди из лучших. Все были в простой суконной одежде, многие – в иноземном платье. В дальнем конце сводчатой – коробом – палаты, расписанной по стенам и потолку рыцарями, зверями и птицами, на тронном стуле из рыбьего зуба и серебра сидел, как идол, неподвижно выпучив глаза, Петр, без шляпы и парика, в рысьем кафтане серого сукна. По левую руку его стоял Лаврентий Свинын с золотой миской, по правую – Василий Волков держал на вытянутых руках полотенце.

Послы приблизились и на ковре перед тронными ступенями преклонили колени. Свинын поднес миску, Петр – глядя вперед себя – сунул пальцы в воду, Волков вытер их, и послы подошли к царской шершавой руке. После сего Петр встал – головой под балдахин – и по-русски, раздувая горло, проговорил по старинному чину:

– Каролус король Свейский по здорову ли?

Посол, приложив руку к груди и склонив набок рогатую копну парика, ответил, что Господней милостью король здоров и спрашивает о здоровье царя всея Великия, Малыя и Белья и прочее. Переводчик Шафиров, одетый, как и шведы, в короткий плащ, в шелковые штаны с лентами и разрезами на ляжках, громко перевел ответ посла. Бояре внимательно приоткрыли рты, настороженно задрали брови, слушая, нет ли хоть в букве какой бесчестья. Петр кивнул: «Здоров, благодарю». Посол, взяв у секретаря с бархатной подушки свиток – верительные гра-

моты, – коленопреклоненно поднес их Петру. Царь принял грамоты и, не глядя, ткнул ими в сторону первого министра, Льва Кирилловича Нарышкина, – этот, в отличие от всех, был одет с чрезвычайной пышностью – в белый атлас, сверкал камнями. Лев Кириллович, не разворачивая свитка, громко проговорил, что прием окончен.

Послы с поклонами пропяtilись задом до дверей.

Послы ожидали, видимо, что здесь же, на великом приеме, поднимут вопрос о главном, – для чего они полгода томились в Москве: о клятвенном целовании царем Петром Евангелия в подтверждение мирного договора со Швецией. Но прошла неделя, куда московские министры не позвали послов в Приказ иностранных дел на конференцию. Там Прокофий Возницын в ответ объявил шведам, что прежние мирные договоры со Швецией царь Петр подтверждает *своей душой* и вдругорядь целовать Евангелия не станет, ибо однажды он уже присягал отцу нынешнего короля. Но зато молодому королю Карлу целовать Евангелие нужно, ибо царю Петру он не присягал. Такова государственная воля, и она послам объявлена и изменена не будет.

Послы горячились и спорили, но слова их отскакивали от надутых важностью москвитов, как от стены горох. Послы сказали, что без разрешения короля никак не могут принять такой – на вечный мир – dokonчальной грамоты и напишут в Стокгольм. Прокофий Возницын ответил с усмешкой в стариковских глазах:

– Дорога в Стекольну¹⁰ вам известна, – не получите ответа и в четыре месяца, придется вам этот срок жить в Москве напрасно, на своих кормах.

На второй конференции и на третьей все было то же. Посольский приказ перестал отпускать даже сено лошадям. Послы продавали кое-какую рухлядь, чтобы прокормиться, – парики, чулки, пуговицы. И наконец сдались. В Кремле царь Петр, так же сидя в рысьем кафтане на троне, передал охудавшим послам нецелованную dokonчальную грамоту.

В туманное ноябрьское утро кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул: «Прочь пошла, стерва!» Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям.

Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифляндский рыцарь Паткуль.

– Вот и слава Богу, – сказал Меншиков, тряся им руки.

Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался.

Дверь открыл Петр. Без улыбки молча наклонил голову. Ввел гостей в надымленную спальню с одним слюдяным окошком, едва пропускавшим туманный свет.

– Ну, что ж, рад, рад, – пробормотал, возвращаясь к окошку. Здесь на небольшом непокрытом столе, на подоконнике, на полу были разбросаны листы бумаги, книги, гусиные перья. – Данилыч!..

Петр пососал испачканный чернилами палец:

– Данилыч, этому подъячему ноздри вырву, ты ему так и скажи. Одно занятие – чинить перья, – спит целый день, дьявол... Ох, люди, люди! (Паткуль и Карлович выжидательно стояли. Он спохватился.) Данилыч, подай гостям стулья, возьми у них шляпы... Вот... (Ударил ногтями по исписанным вкривь и вкось листкам.) С чего приходится начинать: аз, буки, веде... Растут по московским дворам такие балды, – сажень ростом. Дубиной приходится гнать в науку... Ох, люди, люди!.. А что, господин Паткуль, англичане Фергарсон и Грене – знатные ученые?

¹⁰ То есть в Стокгольм. (При меч. А. Н. Толстого.)

– Будучи в Лондоне, слышал о них, – ответил Паткуль, – люди не слишком знатные, сие не философы, но более наук практических...

– Именно. От богословия нас виши заели... Навигационные, математические науки. Рудное дело, медицина. Это нам нужно... (Взял листки и опять бросил на стол.) Одна беда – все наспех...

Сел, бросил ногу на ногу. Облокотись, курил. Налитой здоровьем Карлович, похрипывая, моргал на царя. Паткуль угрюмо глядел под ноги. Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку.

– Ну, как, написали, привезли?

– Мы написали тайный трактат и привезли, – твердо сказал Паткуль, подняв побледневшее лицо. – Прикажите господину Карловичу прочесть.

– Читайте.

Меншиков на цыпочках придвинулся вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать:

– «Для содействия Российскому государю к завоеванию у Швеции несправедливо отторгнутых ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море король польский начнет с королем шведским войну вторжением саксонских войск в Лифляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву и Ржечь Посполитую Польскую. Царь со своей стороны откроет военные действия в Ингрии и Карелии тотчас по заключении мира с Турцией, не позже апреля 1700 года, и между тем, в случае надобности, пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. Союзники условились в отдельные переговоры с неприятелем не входить и друг друга не выдавать. Сей договор хранить в непроницаемой тайне».

Облизнув сухие губы, Петр спросил:

– Все?

– Все, ваше величество.

Паткуль сказал:

– Получив согласие вашего величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привезти подлинную подпись короля Августа.

Петр странно, – так пристально, что навернулись слезы, – взглянул в его желтоватые, жесткие глаза.

Перекопился усмешкой:

– Дело великое... Ну, что ж... Поезжай, Иоганн Паткуль...

5

На соборной башне гулко пробило двенадцать. Уважающие себя горожане готовились к обеденной трапезе. Сенаторы покидали кресла в зале заседаний. Торговцы прикрывали двери лавок. Цеховой мастер, отложив инструмент, говорил подмастерьям: «Мойте руки, сынки, и – на молитву». Старый аристократ снимал очки и, потеряв печальные глаза, торжественно проходил в столовую залу, потемневшую от дыма минувшей славы. Солдаты и матросы веселыми кучками устремлялись к харчевням, где, подвешенные над дверями, чудно пахли пучки колбас или копченый окорок.

Пожалуй, один только человек в городе не подчинился голосу благоразумия, – король Карл Двенадцатый. Чашка с шоколадом стыла у его постели на столике между бутылками с золотистым рейнским вином. Пурпуровые занавески на высоких окнах были раздвинуты. В саду падал снег на еще зеленые кусты, подстриженные в виде шара, пирамиды и прямоугольника. Зеркало камина отражало снежный свет, отражались два канделябра с восковыми сосульками от догоревших свечей. Трещали сосновые поленья. Штаны короля висели на голове

золотого купидона, у подножия постели. Шелковые юбки и женское белье разбросаны по стульчикам.

Опираясь локтем о подушку, король читал вслух Расина*. Между строфами протягивал руку к бокалу с душистым рейнским. Рядом, закрывшись стеганым одеялом до кончика носа, дремала черноволосая женщина, – кудри ее были раскиданы, румяна стерлись, лицо казалось желтоватым, почти как вино в бокале.

Это была известная своими приключениями легкомысленная Аталия, графиня Десмонт. Ее жизненный путь был извилист, как полет ночной мыши. С одинаковым изяществом она носила придворное платье, костюм актрисы и колет* гвардейского офицера. Она умела спускаться из окон по веревочным лестницам от досадного любопытства императорской или королевской полиции. Она пела в венской опере, но при загадочных обстоятельствах потеряла голос. Танцевала перед Людовиком Четырнадцатым в феерии, поставленной Мольером. Переводная мушкетером, сопровождала маршала Люксамбура во время осады фландрских городов, – рассказывали, что после взятия Намюра ее походная сумка оказалась набитой драгоценностями. По-видимому, по настоянию французского двора появилась в Лондоне, изумляя англичан своими верховыми лошадьми и туалетами. Ее очарованию поддались несколько пэров Англии и, наконец, герцог Мальборо, отважный красавец. Но графине дали знать, что герцогиня Мальборо советует ей покинуть Лондон с первым же кораблем. Наконец ветер приключений занес ее в постель шведского короля.

– Любовь, любовь, – проговорил Карл, тянясь за бутылкой, – и еще раз любовь... Это в конце концов надоедает. Расин утомителен. Царь мирмидонский Пирр был, наверно, неплохим рубакой*, – на протяжении пяти актов он болтает несчастный вздор... Я предпочитаю биографии Плутарха или комментарии Цезаря. Хочешь вина?

Графиня, не открывая глаз, ответила:

– Отстаньте от меня, ваше величество, у меня трещит голова, по-видимому, я не переживу этого дня.

Карл усмехнулся, потянул из стакана. В дверь скреблись. Уткнувшись в Расина, он лениво сказал:

– Войдите...

Вошел улыбающийся, шуршащий шелком барон Беркенгельм, камер-юнкер его величества. Приподнятый нос с небольшой бородавочкой, казалось, выражал его живейшую готовность сообщить самые свежие новости.

Он раскланялся королевским штанам и в приятных выражениях начал рассказывать о незначительных происшествиях во дворце. От его пытливого ума ничто не могло скрыться, даже такая мелочь, как сомнительный шорох нынче ночью в спальне у добродетельной статс-дамы Анны Боштрем. Атали простонала, поворачиваясь на правый бок:

– Боже мой, Боже мой, какой вздор...

Барон не смутился, – видимо, у него было приготовлено кое-что существенное.

– Сегодня в девять утра лавочники подали в сенат новую петицию о пересмотре гражданского листа... (Карл фыркнул носом.) Жадность этих бюргеров не знает предела. Только что я видел французского посла, – он ехал с великолепнейшими английскими борзыми – травить зайцев по пороше... Что у него за жеребец! Тот, что он выиграл в карты у Реншельда... Рассказываю ему – посол пожимает плечами: «Очевидные происки гугенотов, – это его слова, – эти лавочники и ремесленники разбежались по всей Европе. Они унесли из Франции шестьдесят миллионов ливров... Эти еретики упорствуют и всюду, где только можно, подрывают самый принцип королевской власти. Они все – в тайной связи: в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах и у нас... Они пользуются любым случаем, чтобы внушать бюргерам ненависть к дворянству и королям...»

– Еще что ты узнал? – мрачно спросил Карл.

– Конечно, я был в сенате... Сегодняшняя петиция – только один из предлогов. Я кое с кем перемолвился в коридорах. Они готовят закон об ограничении королевского права объявления войны.

Карл яростно захлопнул «Андромаху» Расина. Швырнул книгу. Сел, подтыкая одеяло.

– Я спрашиваю, что ты узнал сегодня? (Беркенгельм глазами показал на кудрявый затылок графини.) Вздор! Здесь нет лишних ушей, говори...

– Вчера на купеческом корабле прибыл из Риги один дворянин... Мне еще не удалось его видеть... Он рассказывает, – если только можно верить, – он рассказывает, будто Паткуль неожиданно объявился в Москве...

Затылок графини приподнялся на подушке. Карл покусал кожу на губе:

– Поди, попроси ко мне графа Пипера.

Беркенгельм взмахнул, как крылышками, кистями рук в кружевах и вылетел по ковру. Карл глядел на падающий снег за окном. Узкое лицо его с высоким лбом, женственными губами и длинным носом было бесцветно, как зимний день. Он не замечал иронического глаза графини, блестящего из-за пряди волос. Следя за снежными хлопьями, внимал в глубине себя новым ощущениям: подступающему жгучему гневу и расчетливой осторожности. Когда послышались тяжелые шаги за дверью, он схватил подушку и бросил графине на голову.

– Закройтесь, я должен быть один.

Оправил рубашку, взял давно остывшую чашку шоколаду (следуя традиции французского двора, королям в кровать подавали шоколад).

– Войдите.

Вошел тайный советник Карл Пипер, недавно возведенный им в графы, – рослый, толстоногий, одетый тщательно и равнодушно, с помятым, настороженным лицом опытного чиновника. Холодно оглянув его, Карл сказал:

– Я принужден узнавать новости от придворных сплетников.

– Государь, они узнают их от меня. – Пипер никогда не улыбался, никогда не терял равновесия духа, бюргерские ноги могли выдержать какую угодно качку. – Но они узнают только то, что я нахожу нужным предоставить для дворцовой болтовни.

– Паткуль в Москве? (Пипер молчал. Карл повысил голос.) Если король делает вид, что он – один, значит, он один – для земли и неба, черт возьми...

– Да, государь, Паткуль в Москве вместе с известным авантюристом генералом Карловичем.

– Что они там делают?

– Можно догадываться... Точных сведений у меня пока еще нет.

– Но в Москве сидит наше посольство...

– Посольство, отправленное по настоянию сената. Господа сенаторы хотят мира на Востоке во что бы то ни стало, пускай и добиваются мира своими средствами. Мы, во всяком случае, не пожертвовали для этого ни одним фартигом из вашей казны.

– Хотел бы я наскрести в моей казне этот самый фартинг, – сказал Карл. – Вы слышали о новой петиции? Вы слышали, что мне готовят господа сенаторы? (Пипер пожал плечами. Карл торопливо поставил чашку обратно на столик.) Вам известно, что я не желаю больше разыгрывать роль покорного осла? Ради этих унылых скопидомов мой отец разорил дворянство. Теперь эти «гугеноты» желают превратить меня в бессловесное чучело... Они ошибаются!.. (Покивал Пиперу узким лицом.) Да, да, они ошибаются. Знаю все, что вы скажете, граф Пипер, – у меня сумасбродная голова, пустой карман и скверная репутация... Цезарь овладел Римом через победы в Трансальпийской Галлии. Цезарь не меньше меня любил женщин, вино и всякое безобразие... Успокойтесь, я не собираюсь в конном строю брать наш почтеннейший сенат. В Европе достаточно места для славы... (Покусал губы.) Если Карлович – в Москве, значит, мы имеем дело с королем Августом?

– Думается мне, не только с ним одним.

– То есть?

– Против нас коалиция, если я не ошибаюсь...

– Тем лучше... Кто же?

– Я собираю сведения...

– Превосходно. Пускай сенат думает сам по себе, мы будем думать сами по себе... Больше вам нечего сообщить? Благодарю, я вас не задерживаю...

Пипер неуклюже поклонился и вышел, несколько ошеломленный: король кого угодно мог смутить неожиданными оборотами мыслей. Пипер осторожно подготавливал борьбу с сенатом, боявшимся больше всего на свете военных расходов. После недолгого перерыва войной снова терпко запахло от Рейна до Прибалтики. Война была единственной дорогой к власти, Карл это понимал, но слишком горячо и несвоевременно рвался в драку: одного его темперамента было еще мало.

В коридоре перед дверями спальни граф Пипер взял за локоть Беркенгельма и – озабоченно:

– Постарайтесь развлечь короля. Устройте большую охоту, уезжайте на несколько дней из Стокгольма... Денег я достану...

Карл продолжал сидеть на постели, зрачки его были расширены, как у человека, глядящего на воображаемые события. Атали сердито сбросила с головы подушку и, придерживая зубами сорочку, поправляла волосы. У нее были красивые руки и смуглые плечи. Запах мускуса привлек наконец внимание короля.

– Вы знали короля Августа? – спросил он. (Атали уставилась на него пустым взглядом круглых темных глаз.) Уверяют, что это – самый блестящий кавалер в Европе, любимец фортуны. Он тратит по четыреста тысяч злотых на маскарады и фейерверки. Пипер клялся мне, будто Август однажды сказал про меня, что я провалился в отцовские ботфорты, откуда хорошо бы меня вытащить за шиворот и наказать розгами...

Атали выпустила из зубов кружево рубашки и весело, немного хриповато, беззаботно рассмеялась. У Карла задрожало веко.

– Я же говорю, что Август остроумен и блестящ... У него десять тысяч саксонских пехотинцев собственного войска и широкие замыслы. Еще бы, Швеция с таким королем в отцовских ботфортах беззащитна, как овца... Я все-таки хочу доставить себе удовольствие напомнить Августу этот анекдот, когда мои драгуны приведут его со скрученными за спиной локтями к моей палатке...

– Bravo, мальчик! – сказала Атали. – За успех всяких начинаний! – Хорошим глотком осушила бокал рейнского, вытерла губы кружевом простыни.

Карл выскочил из-под одеяла, босой, в ночной рубаше до пят, побежал к секретеру, из потайного ящика вынул футляр, – в нем лежала алмазная диадема. Присев на край постели, приложил драгоценность к черным кудрям Атали:

– Ты будешь мне верна?

– По всей вероятности, ваше величество: вы почти вдвое моложе меня, минутами я испытываю к вам чувства матери. – Она поцеловала его в нос (так как это было первое, что подвернулось ее губам) и с нежной улыбкой вертела диадему.

– Атали, я хочу, чтобы ты поехала в Варшаву... Через несколько дней отплывает «Олаф», прекрасный корабль. Ты высадишься в Риге. Лошади, возок, люди, деньги – все будет приготовлено. Ты будешь мне писать с каждой почтой...

Атали с внимательным любопытством взглянула в эти юношеские глаза: они были ясны, жестки, и, – черт их знает, эти северные серо-водянистые глаза, – где-то в них таилась сумасшедшая решимость. Мальчик подавал надежды. Атали по давней привычке (приобретенной еще во времена походов с маршалом Люксамбуром) тихо свистнула:

– Ваше величество, вы хотите, чтобы я влезла в постель к королю Августу?

Карл сейчас же отошел к камину, уперся в бока, веки его, будто в томлении, полузакрылись:

– Я прошу вам любую измену... Но если это случится, клянусь святым Евангелием, куда бы вы ни скрылись, найду и убью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.